

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ



НА КАЖДЫЙ ПИР — СВОЙ ЧИР

ПОВЕСТЬ

07–13.07.2017 года, Игарка, полярный день
(вместо предисловия)

Север всегда таил для меня какую-то северосианную притягательную силу. Своей загадочностью, своей, прежде всего, удалённостью, а значит, кажущейся недоступностью и непостижимостью манил и притягивал. Так было в школьные годы, так было, когда одолевал университетские ступени. И вот, прожив много лет в Западной Сибири, познакомившись с природой края, народами, проживавшими здесь испокон веков, с историей, в том числе и новейшей, я принял всей своей сутью сибирскую землю, влюбившись сердцем и душой в эту суровую землю. А вот в Заполярье бывал только один раз и то в период полярной ночи.

Посетить Заполярье, объекты, связанные с пятьсот третьей стройкой, или, на худой конец, — музей, посвящённый тем событиям, и обязательно

МИХАЙЛОВСКИЙ Валерий Леонидович родился 13 июня 1953 года в г. Хмельник Винницкой области на Украине. Окончил Винницкий медицинский институт. Работает врачом-психотерапевтом. Более 40 лет живёт в Западной Сибири. Организатор нескольких крупных научно-исследовательских экспедиций по изучению истории Сибири, этнологии, культуры коренных народов Севера. Создатель этнолитературного музея на действующем стойбище “Карамкинское”. Автор более тридцати научных работ, многих книг прозы. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, “Югра” и других. Главный редактор литературно-художественного альманаха писателей Югры “Эринтур”. Живёт в Нижневартовске.

в период полярного дня, мне хотелось с того момента, как я закончил роман “На тонкой ниточке луна...”. Хотелось самому испытать, увидеть своими глазами, что такое есть полярный день. В романе есть главы, действие которых происходит в это время года. Хочется самому прочувствовать, насколько это возможно, заполярную природу; ощутить, хоть краешком, какими были условия в казармах-бараках той зловещей стройки, названной “номер пятьсот три”. И музей сохранил представление об этом нечеловеческом быте. Хотелось сверить часы, как говорится, всё ли правильно изложил в романе... Съездил... сверил...

А ещё причиной поездки в Игарку явилось желание моего друга Михаила Сергеевича Кайдана, родившегося в этом заполярном городке, найти могилу своей матери. Она была сослана в Игарку с родителями ещё ребёнком. Там прожила всю свою сознательную жизнь, там и умерла.

Поселились мы в Игарке с Михаилом и моим братом Фёдором на пятом этаже пятиэтажного дома. Дом выходил фасадом на большую пустынную площадь.

Солнце проделывало круг за кругом, не садясь, однако, ниже горизонта. К ночи, правда, оно прижималось к тёмной и ровной линии земли, тени вытягивались от дома до дома, солнце освещало то один фасад, то другой, то оно заходило с тыла, то оно лунило в окна кухни. И так круглосуточно.

Михаила Сергеевича Кайдана я знаю давно. На северах он появился значительно раньше и севернее меня: он родился в заполярье, в Игарке. Он и раньше коротко рассказывал о своей родине, но уж очень коротенько. Ну, допустим, то, что он сын известного композитора Сергея Фёдоровича Кайдана-Дешкина, автора мелодии “Взвейтесь кострами, синие ночи” — пионерского гимна советских пионеров, — я знал. Обычно о своём, как принято теперь говорить, биологическом отце он много не распространялся: “Нехороший человек (он употреблял здесь другое слово) он был, вот что скажу тебе. Ушёл от мамки, бросил её с детьми, беременную мною, в самое трудное время. Он в педучилище преподавал. К юным девчонкам приставал, его чуть и по этой статье не посадили. Короче, сбежал он куда-то от статьи, и больше ничего мы о нём не знали. Я его никогда не видел: я ещё не появился на свет, когда он смылся. Воспитал нас другой человек...”

Этот факт его биографии уже выделял его среди прочих. Но он ещё и правнук по материнской линии Михаила Владимировича Миррера, известного петербургского народовольца, цыганской крови, сосланного в Сибирь, ставшего крупным банкиром, директором Благовещенского отделения Сибирского Русско-Американского банка, управляющим пароходства. Именем Михаила Миррера был назван пароход на Амуре.

В честь него и был наречён именем Михаил правнук, родившийся в Игарке. Вот такая вот история с географией: Петербург, Благовещенск, Игарка. Теперь вот Нижневартовск, где живёт в настоящее время Михаил Сергеевич Кайдан.

Мы с братом вызвались помочь Михаилу Сергеевичу осуществить поездку, найти могилу. Да и не смог бы сам Михаил одолеть путь-дорогу в северные края: и по состоянию своего пошатнувшегося здоровья, и по другим причинам.

В 1989 году Михаил приезжал в Игарку на похороны матери. В декабрьские морозы, провозжая мать в последний путь, сидя в кузове какого-то грузовика, он обморозил колени, но тогда ничего не замечал. Это потом заметил, что кожа вспузырилась.

— Я, когда с озера добирался, так не обморозился. Тогда мы, правда, были одеты соответственно, а тут обмишурился, — сокрушался он.

И он рассказал историю о том, как их — троих подростков и одного опытного рыбака по имени Виктор — забросили самолётом за двести километров на озеро Хантайское добывать чира в сентябре и не забрали обратно. И как наступила лютая зима, и как кончились продукты, и как добирались до посёлка, преодолевая нечеловеческие препятствия, замерзая; рассказывал с ужасающими подробностями, которые возбуждали в душе чувство сострадания, с одной стороны, и восхищения мужеством ребят — с другой. Я вкратце записал фабулу. Что-то зацепило меня в его рассказе.

А могилу его мамы Ольги Николаевны Кайдан мы не нашли. Никто не помнит, где она захоронена. Реестр могил стали вести только с 1995 года. Мы нашли много безымянных могил. Возможно, одна из них была его мамы, но это установить нам было не под силу.

Мы возвращались с кладбища по пыльной бесконечной, как мне тогда показалось, дороге. Михаил рассказывал об Игарке, о том, что вот там стояла школа, а там был наш дом, а на той улице жили воры, а вот там... а вот там... а вот там... Но сейчас всё заросло кустарником, молодым лесом, и ничто не указывало на то, что когда-то здесь кипела жизнь, что всю эту огромную площадь занимал город — деревянный город. Рассказал о пожаре, который в 1966 году уничтожил целые улицы, кварталы.

Теперь город Игарка состоит из нескольких десятков каменных зданий, сгрудившихся на небольшом пятачке, и нескольких улиц деревянных построек.

Солнце прилепилось к горизонту, свету на улице чуть поубавилось. Я начал фотографировать через каждый час с пятого этажа фасады домов, освещённые светилом. И так всю ночь.

Всякого было переговорено в той поездке за “пунктирную линию”. Михаил вспоминал множество различных историй, особенно касающихся его семьи. Но каждый раз на кухне за чаем ли, в музее ли, в самолёте ли, Михаил возвращался и возвращался к истории той роковой рыбалки на озере Хантайском. При этом он обязательно, с чувством несколько пригорчённой гордости, подчёркивал: “Наш чир-то в самую Москву, говорят, доставляли, в сам Кремль. Вот как...”

И я подумал, что эта история, как и история его семьи, заслуживает того, чтобы о ней узнали.

**Москва. Кремль. 3 часа 30 минут пополуночи.
Год 1896. Май, числа 18-го.**

Государь Император, отодвинув тяжёлую штору, взволнованно, с чувством душевного смятения посмотрел сквозь чисто вымытое окно на широко раздавшуюся ровную площадь. Тёмный и пустынный вид её никак не способствовал душевному умиротворению, а наоборот, в груди возникло просто невыносимое тягостное чувство не то вины, не то какой-то гнетущей тоски. Глаза увлажнились. “Зачем, зачем так случилось... Зачем?” — простонал вслух. Кулаки сжались в бессильной злобе на всех затейников этой безобразной вакханалии, случившейся утром; на полицию, не смогшую воспрепятствовать случившемуся горю... Да, именно горю... Его взор поднялся к куполам Успенского собора, уже проявившимся в приближающемся рассвете.

Вот только четвёртого дня прошёл торжественный обряд помазания на царствование в главном соборе, в котором короновались все его предшественники — самодержцы России. Ещё звучит в ушах торжественный голос митрополита Палладия, подхватываемый басовито и рокотно митрополитом Киевским Иоанникием и зычно-возвышенно — Московским, Сергием; ещё ощущается отдающий хладом обруч по всей голове от прикосновения короны. Он вздрогнул, по телу прошла противная волна от головы до самых пяток: между его теперешней жизнью и прежней поселился этот холодящий и лоб, и душу металлический обруч, холодный и жгучий одновременно. Мелькнула возникшая в мутнеющем сознании картина поднимающегося на Голгофу измождённого Христа-Спасителя с терновым венком на голове. По лицу спускаются капли крови, смешавшиеся с потом, заливают тускнеющие глаза. Государь потрогал рукой лоб, посмотрел на ладонь, не обнаружив крови, перекрестился: “Боже милостивый, прости за дерзость — сам себе не принадлежу. Даруй силы пережить горе всем пострадавшим, упокой души погибших...”. Помолчал в тишине.

Он искал не то защиту и Господнее покровительство, не то, наоборот, пытался спрятаться от Божьего ока, осознавая всю драматичность прошедших суток, подсознательно и робко впуская мысль о своей причастности к происшедшему несчастью. Душу разрывало от нахлынувших чувств. “Зачем так случилось...” — простонал дрожащими губами. Взгляд его не был

тускл, а скорее скорбен, брови, низко нависшие над глазами, прикрыли ещё не восплаившие золотом купола за чисто вымытым окном. Он отпустил шторму, поглотившую враз какую-то часть тёмного стекла, медленно подошёл к углу стола, взял рапорт о происшедших сегодня утром событиях, пробежал его глазами, нервно бросил на стол. “Какой вздор!” Рука потянулась к колокольчику, но вдруг Государь глянул на часы. Они показывали полчетвёртого утра. Не стоит будить прислугу. Электрические лампочки давали достаточно света, чтобы ещё раз пробежать глазами опротивевший рапорт обер-полицейстера Александра Власовского. Николай II присел на край стула, макнул перо в чернильницу, что-то нервно черкнул в углу рапорта. “Провести тщательное расследование. Уволить!!! Немедленно — в отставку!” — твёрдо прочитал он написанное. Резко сдвинул рапорт к углу стола. Больше он не трогал этот белеющий лист бумаги.

Император приоткрыл ящик стола, достал толстую тетрадь с надписью крупными буквами “Дневник”, открыл его, задумался на какое-то время, уставившись взором в угол кабинета, где стоял резной буфет. Долго не мог начать фразу, вертя ручку. Потом встал, прошёл к буфету, достал открытую бутылку мадеры, налил в фужер, покрутил пальцами хрустальную ножку, посмотрел сквозь золотистое вино на окно, отметив, что стало уже светлее, отпил самую малость, подержал во рту сладковато-приторную жидкость, сделал паузу, проглотил, ощутил приятное тепло. Ещё глоток... ещё... Отставив бокал с золотистым напитком на дне, открыл дневник. Привычка вести дневник была приобретена давно. И хоть не всегда являлось вдохновение, а тем паче в такое время, как сейчас, Государь заставил себя сделать первый росчерк. Он знал — стоит только начать, а дальше мысль поведёт перо по белой бумаге, снимая с души тягостное томление, будто через перо уходили в бумагу и печали, и тяготы... Строчки ложились ровными рядками: “До сих пор всё шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, напёрла на постройки, и тут произошла страшная давка, причём, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек!! Я об этом узнал в 10 1/2 ч. перед докладом Ванновского; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 1/2 завтракали и затем Алике и я отправились на Ходынку на присутствие при этом печальном “народном празднике”. Собственно, там ничего не было; смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка всё время играла гимн и “Славься”. Переехали к Петровскому, где у ворот приняли несколько депутатов и затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех волостных старшин. Пришлось сказать им речь, а потом и собравшимся предводителям двор. Обойдя столы, уехали в Кремль. Обедали у Мама в 8 ч. Поехали на бал к Montebello. Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 ч.”

Захотелось расстегнуть воротник, туго, как показалось Императору, сжимавший шею. Вдруг родилось чувство, будто кто-то невидимой рукой держит его за горло, пытаясь перекрыть дыхание. Привычным движением он протолкнул одну, следом и другую пуговицу в тугие петли, ощутив на большом пальце острое ребро второй непокорной, раздвинул воротничок, потёр шею, освобождаясь от невидимой руки; стал у стола, поджав к кресту на груди левую руку, и замер.

Почему-то восстали в памяти слова герцога Эдинбургского, сказавшего пренебрежительно, как показалось Императору в тот миг, что при праздновании 50-летия царствования Виктории было 2500 человек убитых и несколько тысяч раненых, и никто этим не смущался. Он доподлинно помнил свой ответ герцогу: “Мы, русские, таким трагическим происшествиям не можем не смущаться, у нас есть совесть и честь, что в Европе теперь не очень в цене”. Он вспомнил сморщившееся лицо герцога, его приподнявшиеся от этого бакенбарды.

Император вздрогнул, приподняв плечи, он крепко зажмурил глаза. Ему хотелось забыть сегодняшний день, тот неприятный разговор с герцогом. Маркиз, напротив, был участлив и предупредителен, деликатно обходя тяжёлое

событие в своих речах, лишь в начале разговора, выразив “искреннее сочувствие”.

Император задумался... Вдруг его лицо посетила еле заметная улыбка. Да, маркиз Монтебелло пышно по-европейски обставил бал, но кухня французская даже с её лягушачьими лапками в изысканных соусах, с её круассанами всё же не то, что наша, русская. Император сладостно улыбнулся. Мысли перескочили уже на другое. Конечно, обед после коронации: фаршированные рябчики, заливные сиги, прелестные осетры — был роскошнее французского... Особенно Государь отметил заливные сиги, подаваемые в серебряных блюдах, о которых гости говорили только в превосходных тонах. Но то был обед в честь коронации! Да, не чета — французская кухня... Богатая страна наша Россия, богатая...

Вдруг он вспомнил своего друга по охотам министра Воронцова-Дашкова, во многом отвечавшего за поставку дичи к императорскому столу, вспомнил его рассказ о крестьянине из Углича Козьме, ловившем белорыбицу, осетров да стерлядей, “утонувшем под лёд”. Сам собирался в Углич осенью, с Козьмой было намерение встретиться. Дивные там места под Угличем: лоси по осеням трубят по лесам дремучим. О том не раз рассказывал министр Воронцов-Дашков. Будто охладило ладонь прикладом охотничьего ружья, будто на мышке колыхнулись рога-лопаты сохатого. Государь Император вновь перевёл взгляд на окно, замер на мгновение. Не рыбалка прельщала Государя — он любил охоту. Император встряхнул головой, освободившись от наваждения, обвёл взглядом кабинет.

Надобно бы послать, пожалуй, подарок вдове Козьмы, как его фамилия-то? Да ладно, Воронцов знает. И бутылку мадеры, пожалуй. Да... и кружку с вензелями... Жаль мужика. Что ж он так-то, разве можно через Волгу да по тонкому льду, да с тяжёлыми санями, гружёнными под верх стерлядями да осетрами? Пусть отыщет вдову непременно. Поди уж, призабылось горе. Император почему-то начал считать, сколько могло пройти времени, как ушёл под лёд Козьма. Получалось никак не меньше полутогда.

Теперь другой мужик поставляет волжские деликатесы ко двору. Пока Император не знал, что тот другой мужик не кто иной, как старший сын Козьмы — Савелий. Да и к чему знать ему то, что и без его императорского повеления уже справилось, как и должно быть.

Нет людей незаменимых, нет... Народу много... Течёт народ реками, морями, раскинувшись по России. Вот и на Ходынке, — снова вернулся мыслями к утреннему греховному происшествию, — только убрали растерзанных толпою мужиков да баб, растоптанных сапогами; а народ, будто и не случилось ничего, веселится, песни распевает; пьёт даровое вино да пиво, радуется полученной расписной кружке...

Император поймал себя на мысли, что стоит в той же позе, как стоял перед художником в прошлом году. Вот так этот Репин поставил его у стола, велел не шевелиться. Препротивнейшее занятие — стоять истуканом по воле какого-то художника, не смея сделать хоть какое-то движение. Он нервно поправил усы, подкрутив сверху.

Пододошли к буфету, император тронул рукой бумажный пакет с подарками по случаю коронации, в давке за которыми погибло сегодня столько народу. Рядом стояла расписная кружка, какие были изготовлены специально к празднованию великого события — коронации. Император взял кружку, повертел её в руке, разглядывая государственные вензеля. Кружка ему понравилась. Умеют наши мастера делать такие шедевры. Именно так он подумал. Не перевелись мастера на земле русской.

Мадера золотистой струйкой перетекала в фужер. Пожалуй, и раненым и потоптанным, попавшим в госпитали, тоже пусть разошлют по бутылке... Такая вдруг взошедшая, как показалось Императору Николаю II, свыше мысль согрела его, придала бодрости. Пожалуй, пусть тысячу бутылок возьмут, пусть возьмут, сколько понадобится... Распоряжусь завтра... И вдове Козьмы тоже... Не забыть бы...

Никакой суеты при погрузке в самолёт провизии, сетей для ловли рыбы, одежды и прочей необходимой утвари не наблюдалось. Хоть и пыгались лётчик с бортмехаником как-то подстегнуть мальчишек, подтолкнуть этого здорового рыжего мужика в затёртой до дыр фуфайке, но от этого Виктор, а именно так звали рыжего, шибчей не зашевелился. Получаемые из рук мальчишек кули и мешки он осматривал тщательно; уносил внутрь самолёта и там долго укладывал в определённом порядке. Он был предусмотрительным и расчётливым, как и каждый опытный таёжник.

— Мишка, — командовал он, — аккуратно! Не бросай! Посуда тама. Эмаль отскочит.

И Мишка аккуратно подавал ему мешок с посудой. Так же, словно дорогой фарфор, Рамазан подавал в проём самолётной двери замотанные в тряпьё двуручную пилу и топоры. Уже загрузили лыжи, ружья... Затолкали в двери с трудом прошедшую по габаритам собачью нарту, и только теперь пришла пора для собак.

— Да проходи ты уже со своим Джеком, — понимающе сказал Виктор, заметив, как Джек развернулся, заскочив в самолёт не без помощи Мишки, умыл лицо своему хозяину влажным языком. Мишка хотел передать поводок Виктору и вернуться за другими собаками. — Прходи, прходи, он же выскочит....

И Мишка скрылся в тёмном нутре самолёта. Рамазан и Валерка подали оставшихся на улице собак.

— Рюха, Берта, Найда, Швед, — словно пересчитывая, чётко изрекал клички Виктор.

Только затолкав в дверь самолёта Шведа, неожиданно оказавшего сопротивление, на борт поднялись Валерка и Рамазан.

— Наконец-то, — проворчал командир и быстро поднялся по качающемуся трапу. Бывалый бортмеханик с нечёсаной с проседью бородой, носивший странную кличку Килька, втянул короткую лестницу, закрыл дверь.

— Так, цыган, сядь на место! — строго прикрикнул он на Мишку, делая ударение в слове “цыган” на первом слоге. — Скоро взлетаем.

Двигатель набирал обороты, переходя на визг, обшивка самолёта лихорадочно затряслась, пол задрожал под ногами. Мишка ещё никогда не летал в самолётах, и им овладело тревожное предчувствие. Он сел на жёсткую сидуху у окна, припал лицом к холодному стеклу.

Самолёт, вырвав из тихой бухточки на чуть сморщенную лёгкой рябью большую воду, повернулся против ветра и сразу начал разгон. Стиральная доска кончилась, и, оторвавшись от воды, самолёт успокоился от тряски, словно повис в невесомости. Мишка инстинктивно сильно сжал скамейку, но потом руки его расслабились, и он уже без испуга смотрел в иллюминатор на появившийся внизу посёлок.

Не то от непрерывного моторного гула, не то от набираемой высоты до боли заложило уши, и Мишка сморщил лицо.

— Глотай слюну! — крикнул бортмеханик.

Мишка с усилием сделал несколько глотательных движений, в ушах что-то щёлкнуло, боль отлегла, и мотор взревел ещё громче.

Монотонный гул становился привычным, внизу извивалась какая-то речушка, уходящая вдаль. Разбросанные как попало озёрки и достаточно большие озёра блестели яркими синими зеркалами на фоне буро-рыжей тундры. Справа не видно было ни облачка, а вот в левом окне далеко в рассеянной синеве растянулись по горизонту серые облака. Мишка теребил ухо лежащего у ног Джека и смотрел с благодарностью на рыжие кудри, выбивающиеся из-под кепки сидящего на переднем сидении Виктора. Это он помог ему договориться с хозяином Джека, человеком тяжёлым, грубым, имевшим дурную славу, из воров. Мишка тоже был знаком с Клецом. И знакомство это было не из приятных. Клец был из бывших зеков-уголовников.

В свои пятнадцать Мишка легко отличал “бывших пятидесятвосьмушников” от уголовников. Политические часто собирались в его доме: мама

служила в театре. От них-то он и узнал, что “уголовники бывшими не бывают” или “уголовники и есть уголовники, их только могила исправит”, “им бы только воровать да разбойничать”, “ничего святого”.

На вечерние посиделки приходили политические, но не только артисты, а и учителя, врачи, бывшие учёные и другой интеллигентный люд. Мишка любил эти вечеринки-посиделки, эти долгие застольные разговоры. С особым вниманием он слушал громко декламируемые длинные монологи из пьес. Он наблюдал, как, затаив дыхание, слушали выступавших артистов, а по окончании аплодировали, как в театре. Но больше всего ему нравились анекдоты. Иногда он слышал в свой адрес:

— Вам, молодой человек, это слушать не полагается.

Обычно так пыталась призвать его к порядку общепризнанная прима театра Элизабет. Так её все называли. Бывало, что Мишке нужно было обратиться к ней, и он, запинаясь, смотрел ей в глаза, не решаясь назвать её этим необычным именем. А другого, обычного, чтобы с именем и отчеством, он не знал. Для всех она была Элизабет. В такую минуту она наблюдала за неловкостью юноши, будто это доставляло ей удовольствие, и низким голосом произносила, как бы приходя ему на помощь: “Элизабет...”. “Элизабет”, — обращался к ней Миша. И так было всегда: его замешательство, театральная пауза и грудное низкое: “Элизабет”.

— Пусть слушает, — снисходительно, обращаясь к Элизабет и публике, бросал балагур и весельчак Марк Ильич, — он уже большой мальчик.

— Боже мой, на улице он и не такое слышал, — на одесский манер говорил дядя Женья, отец одноклассницы Женьки, — так что слушайте, Миша, слушайте. Пусть ви узнаете ЭТО здесь, чем, простите, там, — он показывал большим пальцем за своё плечо, за которым темнело окно.

Миша садился обычно за фанерной перегородкой, чтобы “не маячить”, и слушал, запоминал.

Освободившиеся уголовники (их обычно называли ворами) тоже собирались на свои воровские сходки, собирались в стаи, в своры, терроризируя местных и политических. Народ их недолюбливал и побаивался. Часто среди них случались разборки, нередко и с поножовщиной. Вот и Клец — хозяин Джека — был из этих. Жил он через улицу — в “воровском углу” — так в городе прозвали несколько крайних домов, где поселились воры.

С Джеком Мишка познакомился в прошлом году зимой, когда проходил мимо дома Клеца. Этот угловой дом с поваленным забором и вечно не закрывающейся калиткой никак не миновать, когда идёшь в Дом культуры. Вот и в этот раз, возвращаясь с дневного киносеанса, Мишка увидел, как пьяный Клец, придерживая Джека за ошейник, дубасил его своими увесистыми кулаками, а тот, визжа, пытался освободиться, но хозяин держал его крепко. Мишка подошёл вплотную к истязателю и крикнул ломающимся голосом:

— Брось собаку мучить!

Клец повернулся к нему перекошенным от злости лицом, громко выплюнув уже затухшую папиросу, прорычал низким пропитым басом:

— Ишь ты, защитничек нашёлся! По соплям захотелось?! — в это время крепко подвыпивший Клец пошатнулся, и Мишка, удлив момент, ловко подставил ногу. Клец, запнувшись, упал на спину. Поводок выскользнул из заскорюзлой варежки. Джек убежал. Клец поднялся и, шатаясь, подошёл к Мишке, рыча на ходу:

— Я те козью морду-то начищу! — тут он смачно матюгнулся. — Ты у меня счас другую песню запоёшь. Кровью харкать будешь! — Мишка не сдвинулся с места. Не хотел показать свою слабость. А мог убежать. Клец в таком состоянии не угнался бы за ним, но Мишка стоял на месте, упёршись взглядом в заросший подбородок. Клец, нависая громадиной над невысоким мальчишкой, замахнулся. Кулак пролетел над головой. С другой руки Клец тоже не попал: Мишка ловко уходил от ударов, пригибаясь. Это ещё больше раззадорило Клеца, он схватил Мишку за болтавшийся шарф, повалил в снег и стал душить, больно подавливая костяшками кулаков подбородок. И тут Мишка изловчившись, укусил за руку своего обидчика, тот

выпустил мальчугана. Мишка резво вскочил на ноги и валенком с размаху врезал по лицу барахтавшегося в снегу Клеща. И только теперь включил, как говорят, скорость.

С тех пор Джек стал узнавать своего спасителя, часто прибегал к нему, а тот подкармливал его, чем мог. Из школьной столовой, где подрабатывала посудомойщицей его бабушка, доставались Джеку косточки или булочка, пахнувшая котлетами, припрятанные Мишкой.

Самолёт начал снижаться, и Мишка вновь вернулся из воспоминаний в существующую явь. Джек, словно почувствовав взгляд, открыл глаза, посмотрел Мишке в лицо, его хвост едва заметно дрогнул.

— Это ещё не наше озеро, — шепнул он собаке. Джек, будто поняв Мишку, закрыл глаза, громко зевнув.

— Ребята, приготовились, сейчас тряхнёт, держитесь! — крикнул Виктор. — Мишка, подашь вот эти мешки! — Виктор показал рукой.

— Ладно, — ответил Мишка. Он знал, что сначала они должны сгрузить еду и сети рыбакам на Круглом озере.

Самолёт коснулся воды, резко сбавил скорость, отчего Мишка с трудом удержался. В открытую бортмехаником дверь Мишка увидел болотистый берег. Самолёт правым бортом прижался к самому берегу. Виктор стал выбрасывать мешки: один, другой третий, ещё, ещё. Мишка только успевал подавать.

— Всё, готово! — крикнул Килька в кабину лётчику. Взревел мотор, и самолёт, разогнавшись, оторвался от воды. Тряска закончилась, мотор вновь вышел на максимальные обороты. Джек заскулил.

— Глотай слюну! — крикнул ему в ухо Мишка. Джек облизнулся и действительно сглотнул.

— Вот и молодец, — потеревил мохнатое вислое ухо Мишка, а Джек в ответ огладил его лицо тёплым языком. Мишка отметил, уж который раз, что это вислое ухо немного портит умное лицо Джека. Да, именно так подумал Мишка — лицо. В окне — там, далеко внизу, у рубленной избы на берегу озера стояли трое рыбаков и махали руками. Самолёт, заложив крутой вираж, выровнялся и направился на Север.

В глубине самолётного нутра завозились Рамазан с Валеркой, устроив борьбу на сложенных кулях. Звякнула посуда.

— Ну-ка, успокойтесь! — прикрикнул Виктор. — Эмаль поотскакиват. Посуда новая, так вы её до обороту изомнёте.

— Чё ей сделается, — хотел было возразить Валерка, но Виктор строго прикрикнул:

— Поговори мне тут! Философ! Брысь от посуды!

Виктор проворно влез в просторный прорезиненный комбинезон.

— Приготовились! — скомандовал он.

Ребята расселись по своим скамьям-сидениям, уткнувшись каждый в своё окно. Внизу появилось большое озеро. Виктор глянул на своих помощников, поправляя лямки от комбинезона на плечах. “Пацаны — есть пацаны...” — подумал вслух. А самолёт уже снижался, лётчик поставил машину против ветра, резко накренившись, выровнял крылья и приводнился, подкатив к высокому берегу, на котором стояла большая рубленая изба.

Виктор выпрыгнул из открытой Килькой двери. Глубина под берегом была небольшая — по пояс. Он вышел на берег, стащил деревянный трап, перебросил на самолёт, пришвартованный верёвкой. Всё Виктор делал проворно, движения его были привычны и ловки. Разгрузились быстро. Самолёт развернулся, взревел всей мощью своего мотора и, набрав разгон, легко отделившись от воды, скрылся за хребтиной высокого леса. Стало тихо. Только собаки нарушали возникшую тишину. Они носились по поляне перед избой, разминая лапы, то и дело вступая в мимолётные стычки. Это молодь, почуввав свободу, решила порезвиться.

Большая рубленая изба сидела на берегу, двумя окнами повернувшись к озеру и одним — к впадавшему прямо за мысом ручью. Посередине избы

стояла сваренная из толстого металла печка-буржуйка; под стеной слева и дальней — сколоченные из грубого теса нары, а над ними вздыбились матрацы, навешанные на натянутые верёвки, чтобы продувало.

Правый угол был свободен, туда и перенесли свой скарб прибывшие рыбаки. Первым делом, как только управились с работой, Виктор прошёл в угол, закрывая окно своей габаритной фигурой, достал из-за пазухи увесистый, сверкнувший жёлтым металлом крест, уместив его на пригнороченные для этого гвозди, перекрестился трижды, коснулся губами холодного металла.

— Не смотрите так. Здесь свои порядки. Хотите — креститесь, хотите — нет. Это дело каждого. Никто вас не неволит. Только знайте: здесь, на краю света — только мы и Бог. Всё! Здесь других помощников и охранителей нет.

— А что нам смотреть: я крещёный, Валерка крещёный... Я и молитву “Отче наш” знаю, бабушка научила... — смело изрёк Мишка.

— И я знаю, — Валерка подошёл к кресту, перекрестился. Вслед ему перекрестился и Мишка.

— Мне нельзя креститься, я мусульманин, — смущённо произнёс Рамазан, — но мама моя говорила, что у русских Бог крепкий, шибко помогает. Пусть и нам помогает, я только радоваться буду.

— Ну, и лады, — будто подвёл итог Виктор, — только помните: на Бога надейся, да сам не плошай.

Виктор затопил печку, поставил выдавший виды чайник. Прямо к стене у левого окна прилегал намертво пришитый плинтусом к бревну стол из доски-сороковки. Мишка подёргал его за угол. Стол стоял, как литой.

— Крепкий, — качнул он головой.

— Для себя делали, — сказал Виктор, похлопав по столу тяжёлой дланью. — Та-а-ак, — сказал он с протяжкой, — здесь жить будем. Мамок тут нет — всё самим придётся делать: и готовить, и стирать, и посуду мыть.

— Я берусь посуду мыть, — сказал Мишка, будто пытался опередить всех, чтобы не перебили; и все повернулись в его сторону. Самая противная работа, а он сам вызвался.

— Я люблю посуду мыть, — добавил он тихо, и Виктор и его друзья Валерка и Рамазан ещё больше удивились. Возникла пауза.

Эту странную и тихую привязанность к мытью посуды привила Мишке его бабушка. Будучи женой сына управляющего Благовещенским банком, высланного сначала в Красноярск, а потом в Туруханск, а оттуда уже в Игарку, она сопровождала мужа в лучших традициях жён-декабристок. Мужа Николая Михайловича Миррера расстреляли, а она, оставшись одна с детьми на руках, поселилась в крошечной комнатке одного из первых построенных бараков. Это потом её дочь стала артисткой, и они получили жильё попросторней. Часто, сиживая за чаем, она рассказывала о своём житье-бытье в той, “прошлой” жизни. Мишка слушал, открыв рот. “Ты друзьям не говори о том, что слышал, — повторяла она не раз, — нельзя сейчас — не время, потом как-нибудь детям да внукам расскажешь. Может, время такое придёт...”

Но, чтобы к чаю приступить, нужно вымыть посуду. Так заведено.

— Ну, что, Мишуля, время пришло чай пить, — сообщала она, принимаясь собирать со стола грязную посуду.

— Бабуль, я вымою, — говорил внук, принимая тарелки из рук бабушки.

— Помогай, помогай, внучек, я от помощи не откажусь. Быстрее управимся, раньше к чаю сядем.

И Мишка с удовольствием помогал бабушке, чтобы приблизить чаепитие, чтобы взять кусок сахара, расколоть его блестящими щипчиками, Бог весть как уцелевшими после стольких переездов, раздать женщинам: маме и бабушке, — а они благодарно кивали головами, говоря всем своим видом: “Вот какой у нас кавалер за столом”. Не только думали, иногда слышал эти слова с горьковатым прикусом, слетавшие с бабушкиных уст.

— Нет у нас мужчин в доме, — горько констатировала бабушка, поднося платочек к увлажнившимся глазам, — так что ухаживай за нами, ухаживай.

За чаем бабушка часто вспоминала свою многотрудную жизнь.

— Я хочу, Мишуля, чтобы ты знал о своих предках. Они не были врагами народа, они не были врагами России. Деда твоего Николая Михайловича расстреляли не потому, что он вредил государству новому. Не вредил он и в заговорах никаких не участвовал. Он был совершенно мирным интеллигентным человеком. Высказаться мог, конечно, заявить, так сказать, своё несогласие с революционным курсом, но и то только в своём кругу... Кто-то заложил, как сейчас принято определять наговоры. Оговорили его... А पुще всего, не смогли простить ему новые власти происхождения благородного да образованности. Они же, эти революционеры (бабушка в слове революционеры всегда выговаривала буквы "е", как "э"), доброе, интеллигентское обращение к себе воспринимали чуть ли не как оскорбление. Скажешь ему "господин" или "сударь", так он тебя сразу на мат возьмёт, да ещё и доложит, куда следует на такие неприличности.

— Мама, может, не нужно это Мише... — примется унимать бабушку испуганная Мишина мама.

Мама обычно в такие минуты озиралась по сторонам, словно боялась, что сказанное здесь на кухне может просочиться сквозь стены. Она-то больше общалась с людьми и, конечно же, в большей мере осознавала опасность таких разговоров.

— Олечка, перестань так бояться — отбоялись уже, — успокаивала бабушка свою дочь, — с нас уже нечего взять, нас уже некуда высылать, и так живём на самом краю.

— Дети... — тихо возражала мама.

Как много было в этом "дети".

— Ну, и ладно, — сказал Валерка, — раз Мишка вызвался посуду мыть, я готовить буду, — разрядил он обстановку. — Мамка у меня только недавно освободилась, а до того я сам наготовливал на всю семью.

Рамазан не успел вставить свои три копейки в такой важный разговор.

— Ладно, мужики, — громко сказал Виктор, горло ему спёрло комком, и от этого голос просел, — все мы тут не без рук, разберёмся.

Он осмотрел свою бригаду, состоящую из этих троих щуплых пацанов: долговязый Рамазан, Мишка — небольшого росточка, но крепко стоящий на ногах, и совсем щупленький с впалыми щеками, но жилистый Валерка. На каждом задержал взгляд, а те преданно и отрешённо смотрели в глаза своему бригадиру. Теперь он им и мамка, и папка, и старший товарищ. Но робости в глазах не заметил. Знал, что каждый уже прошёл свои "университеты" северной жизни. Знал Виктор, что нет лишнего народу на рыбзаводе, в посёлке все при деле, вот и набирают в бригады рыбаков всякую пьянь да пацанов-подростков. "Уж лучше они", — подумал Виктор.

— Будем живы — не помрём, — выпалил он бодро, — чаю попьём, и все на заготовку дров, а вечером поставим сети. Сначала за избой в ручей кинем сетёшку. Тут чир в прошлом году дуром пёр, да и щук собакам поймать нужно. Так что, мужики, некогда нам тут разговоры долго разговаривать: осень — дни уже короткие.

— Чир — это хорошо, — деловито и даже важно сказал Мишка.

Виктор улыбнулся.

— Да, мужики. За чиром нас сюда и забросили. Прямо в Москву, говорят, наш чир пойдёт. Так-то вот...

— Самому Никите Сергеевичу Хрущёву, поди? — искренне удивился Валерка.

— Возможно, сам товарищ первый секретарь будет нашей рыбой потчеваться, — может, гостей иноземных угощать будет. Вот только никто им не скажет, кто ловил рыбу. Никто из них не узнает, каково это тут горбатиться, до смерти убиваться. А сколько так-то и гибнут? Что ж вы думаете, мало таких было, да и будет ещё... В позапрошлом году целая бригада замёрзла. На Долгом озере сига да чира брали. Изба у них сгорела в самые лютые морозы. И всё, только весной нашли... Выталяли... чуть до города не дотянули. Так-то вот, предупреждаю! — строго посмотрел на стоящих перед ним подростков. — Чтoб никакой самодеятельности. Тута и медведи, и росомахи

водятся. В лес по одному не ходить. С огнём осторожно... — что-то ещё хотел сказать Виктор, но осёкся. И так до смерти запугал пацанов.

— Разберёмся, — сказал Рамазан как можно спокойней.

— Понятно, — подтвердил Валерка твёрдо.

— Не маленькие уже, — вставил Мишка басовито.

Виктор сел у окна на нары, сделанные из толстого теса, поставил на стол курящуюся густым паром эмалированную кружку. Все обратили внимание на необычную кружку с каким-то непонятным рисунком, еле угадывающимся под слоем времени. Перехватив любопытствующие взгляды ребят, сказал спокойно:

— Семейная реликвия. Дед рассказывал, что сам Император Николай II соизволил подарить прабабушке моей, — как-то картинно и торжественно сказал Виктор.

— Ух ты-ы-ы-ы! — удивлённо протянул Мишка. Он потянулся рукой к кружке. — Можно посмотреть.

— Посмотри, а я выйду пока покурю. Пусть чай остынет, а то железо пришекат.

Ребята стали рассматривать ещё сохранившийся рисунок.

— Это же сколько ей лет? — поинтересовался Валерка.

— Ну, вот и посчитай... Если от революции брать, и то уже больше сорока годов, — Рамазан картинно вознёс указательный палец к потолку.

Зашёл Виктор.

— Только уговор такой, — сказал он властно, — никто из вас не видел этой кружки. Понятно? — он строго обвёл взглядом своих помощников.

— Понятно, — вместе ответили мальчишки.

Углич. Год 1896. Май, числа 31-го, Троица

Служба шла торжественно и весело, так, во всяком случае, показалось Пелагее Порфирьевне. Её рука в крестном знамении вспархивала сама в нужных местах легко и непринуждённо, её колени легко и мягко касались пола, устланного толстым слоем разной зелени. Густо слоился дурмящий травяной дух по низу. Большею частью угадывалась мята, татарское зелье, берёзовый лист, и от того поклоны принимались душою сладостно и благостно, как нечто, ниспосланное свыше. Вроде как не руками таких же, как и она, грешников постланы эти благоухающие травы, а самими ангелами принесена зелень.

Разливаемые в изобилии еле видимыми облачками благовония, исходящие от кадил, смешивались с терпким зелёным духом и елейно-сладостным пением самих херувимов, как казалось Пелагее Порфирьевне; смиренно растекались по готовым впитать в себя всё праведное и благочестивое душам прихожан.

Вот до её слуха долетела молитва о здравии Алексея Яковлевича — губернатора Ярославской губернии. Она ждала поминания именно его имени. На каждой службе во всех храмах Ярославской губернии молятся о здравии губернатора Алексея Яковлевича Фриде, захворавшего каким-то тяжёлым недугом. Не так давно болеет тяжкой болезнью губернатор, но людская молва уже растекалась по всем, даже самым маленьким селениям. Молва о болящем справедливом и всемиростивом человеке ширилась и росла. Все монастыри, все храмы и небольшие церквушки губернии и многие в Москве и Петербурге молятся о здравии, в надежде на исцеление Фриде Алексея Яковлевича. Пелагея Порфирьевна хорошо знала губернатора: он дважды бывал в их скромном доме в Рыбной слободе, а в Ярославле принял её и мужа Козьму Афанасьевича со всеми почестями, “аки дворян”, как говаривал не раз Козьма, долго вспоминавший это губернаторское приглашение.

Алексей Яковлевич, устремляя деятельность свою на недопущение недомимого всякого рода, обладал правильным взглядом на государеву службу, которую нёс более чем безупречно. О его честности и благоразумной требовательности ходили легенды. При всей его строгости, которую он приобрёл на

военной службе, он в состоянии был понять самого простого человека, снизить до его забот. Вот и Козьму оградил от беспочвенных обвинений волоостного начальства в якобы сокрытии доходов от рыбного промысла, а стало быть, и освободил от несуществующих недоимок.

— Ознакомился я, Козьма, с бумагами и твоими, и на тебя состряпанными. Не вижу ясных доказательств вины твоей. Ничего такого в представленных канцелярией документах я не нашёл. Что сам скажешь? — и губернатор строго посмотрел на крепкого мужика, сидевшего перед ним.

— Не вор я, ваше высокопревосходительство. Вот те крест — не вор, — Козьма широко, с размахом перекрестился, вскочив на ноги и повернувшись к окну, где вдалеке виднелись церковные купола.

— Вижу, верю: чернотёбые луны крестятся быстро и тайком, чтобы Боженька не узрел, а ты крестишься так, словно сатану разгоняешь. За версту видать, — улыбнулся Алексей Яковлевич.

— Как привык, так и крещусь, — смутился Козьма.

— А пошто это Щуровский осерчал на тебя? Дорогу не то ли ему перебёг? Он такую бумагу на тебя состряпал, что хуже человека уж и нет на свете. Хоть на кол тебя, хоть на дыбу, — напирал губернатор.

— Што сказать-то, ваше высокопр... — запнулся Козьма, — высокопревосходительство... Не знаю, что сказать, не могу в толк взять... не зобижал я его, дорогу не перебегал. Разные у нас дороги-то, — чуть не вскочил с места Козьма. От волнения язык не слушался.

— Сядь, не суетись, Козьма Афанасьевич. Алексеем Яковлевичем меня зови... Понял? Алексеем Яковлевичем... Не всем так дозволяю себя величать. Я вот интересуюсь, Козьма Афанасьич: чем ты всё же насолил так этому Щуровскому? На вот, посмотри! — и губернатор бросил на стол исписанные ровным почерком листы.

— Что я там понимаю, в этих бумагах, дорогой Ляксе́й Яковлевич? — хоть этим “дорогой” Козьма хотел снять свою дерзость, назвав губернатора без этого обязательного “высокопревосходительство”, — я читаю-то чиже́ло, с трудом, что ли. Грамоте-то шибко не научен. Что я там пойму...

— Ну, счёт-то рыбе ведёшь исправно, денежку считать умеешь, — улыбнулся Алексей Яковлевич.

— То счёт, а то вон сколь бумаги измарано, — Козьма Афанасьевич понурил голову.

— Прости, если обидел. Не хотел. Тут что-то не так: нутром чую, что неспроста он столько бумаги извёл. И дело ведь не в трёх рублях недоимки. Это дело пустяшное...

— Нет у меня недоимки! Пустые это слова. Нет недоимки, Ляксе́й Яковлевич, охаял меня этот Щуровский, будь он неладен, — упрямо повторил Козьма. — Никогда у Климовых не бывало недоимок. Вот те крест — исправно плачу, ничего не таю...

— Знаю, уже проверено, сосчитано, — задумчиво произнёс губернатор. — Что ж я тут с тобой вот так беседовал бы, если б всю правду не знал?..

— Моот это он оттого пишет, что своего Митяя на моё место помышлят? — Козьма взглянул в лицо губернатора. Его лицо будто озарилось. — Он давно трыщется на мои места. Покажи да покажи Митяю, сыну евошному, где белорыбца ловится, да осетёр залегат, в какие ямы. Всё выпытыват, вынохиват; да и этого своего Митяя пытается в напарники всучить. А он мне на кой ляд? Ямы-то мои! Отцом мне оставлены. Да тут дело не в этом, не в ямах этих. Уметь нужно промышлять. Есть у меня свои законы, есть, но я никому не покажу, токо сыновьям, токо им. Хоть казни меня, Ляксе́й Яковлевич, никому. Это же хлеб мой! — сверкнул глазом Козьма и тут же остепенился, обмяк телом — не лишку ли сдержал.

— Да я что ль тебя неволю чем? Ну, твоё так твоё. Каждый должен своё беречь, а то так, когда ничьё, то большое непотребство взрастится средь людей. Порядка не будет. Вот теперь становится понятно, отчего это он так старается ушат грязи на тебя опрокинуть. Ямы ему подавай. Там много чего написано, — губернатор перстом указал на кипу бумаг.

— Я вот чего хотел испросить у вас, благодетель наш Ляксей Яковлевич, в силах ли ваших... — Козьма нерешительно поднял глаза от бумаг, к которым он уже утратил всякий интерес. Ну, разобрался же Алексей Яковлевич, ну и ладно.

— Говори, говори, не робей, — мягко прозвучал голос губернатора.

— Бумагу нужно исправить... На ловлю, ну, как сказать... Время кончается.

— Грамоту на рыбную ловлю? Исправим. Как в Москве буду, так исправим тебе бумагу, чтобы всё по закону.

— Ну, вот и я о том же — чтоб по закону...

Губернатор повернулся к письмоводителю:

— Запиши, чтоб не запамятовать про бумагу-то Козьме.

Разговор вёлся в присутствии Пелагеи Порфирьевны. Всё помнит. Каждое слово помнит. С Козьмой, как с ровней, беседовал.

“Ох, и крут губернатор, — подумалось ей, — прищемил хвост Щуровскому. Да так, что тот опосля только “здравствуйте” да “пожалуйте”... Вот какой силой обладает Алексей Яковлевич, а вот надо же — болезнь, говорят, его шибко скрутила. Говорят, и половины его от того былого не осталось. “Даруй, Боже, здоровья Алексею Яковлевичу, даруй силы и терпения”. Она опустила на колени, перекрестилась трижды, трижды коснулась лбом душистой травы.

— О! Пелагея Порфирьевна! Здравствуй, любезная. С праздником! — услышала молящаяся.

— Здравствуйте, Игнатий Тихонович. И вас с праздником, дай вам Бог здоровья, — Пелагея Порфирьевна прилежно рассматривала письмоводителя уездного урядника, отряхивая с одежды прилепившуюся зелень.

— Я тебя уж обыскался, Пелагея, — тихо сказал он, чтобы голос не коснулся чужих ушей.

— Чем же это я вам так пригодилась? — с вызовом спросила Пелагея Порфирьевна.

— Да не мне, Пелагеюшка, Борис Михайлович прямо хотел видеть. Послал меня. Сказали, что ты в церкви. Вот и искал.

Служба уже подходила к концу, и Пелагея в сопровождении косматого и седого как лунь Игнатия Тихоновича вышла на белый свет из Свято-Преображенского храма.

— Дождик был, пока служба шла, — сказала Пелагея.

— Добрый дождь прошёл, прям ливнем лило. Ко грибам. Дождь в Троицу — ко грибам, дело известное... Прошлый год-то сухо было на Троицу, вот грибов-то толком не было...

— Да, — подхватила Пелагея, — дождь на Троицу — ко грибам... Так что там Борис удумал? Не пойду я к им, некогда мне.

Она уже представила себе Борису жену, что болтает без умолку, неся “прелюбезнейшую глупость”, как говаривал сам Борис, да разговоры-то у неё всё пустые, грошковые. Зайдёшь на часок, а к вечеру выйдешь. Сегодня действительно Пелагея хотела пораньше вернуться домой. Вчера ходила на кладбище, проревела на могилке Козьмы горько и безутешно. Выговорила ему всё, что на душе накопело, жалилась на жизнь без него. Тоска такая, что и жизнь не жизнь. На сына старшого Савелия жалилась — только и знает, что свою рыбалку. Сердце болит, за него тревожится. Всю ночь лезла не сомкнула.

В управу шли главной городской улицей по деревянному, ещё не обсохшему тротуару. Встречающиеся редкие экипажи никуда не спешили. Лошади плелись шагом, будто с ленцой. В образовавшихся после дождя лужах купались городские голуби, курицы и бродячие свиньи.

Что нужно Борису? Пелагея не могла представить, какую такую надобность он мог иметь в ней; так мало того, ещё и старого Игнатия погнал в церковь. Однако странно. Так ещё он не искал ни её, ни Козьму, с которым вельсь у них дружба чуть не с детства. Избы родителей их рядом, почитай, стояли. Только вот Борис выучился, урядником стал, дом себе — хоромы царские выстроил, а Козьма рядом с родительской избой себе пятистенку срубил.

Управа расположилась в старой рубленой избе с большим крыльцом, выходящим прямо на деревянный тротуар. Поднялись по ступеням.

— После дождя-то не скрипят, — обратила внимание на такую особенность всегда скрипучих ступеней Пелагея.

— Опосля дождя не скрипят, а вот лишь маленько подсохнут, так и запоют, — поддержал разговор Игнатий Тихонович.

На разговор вышел Борис Михайлович в новой, чуть не с иголки форме. Поправил характерным движением ремень, подтянулся вверх, как бы растягивая свою внушительную фигуру, шевельнул могучими плечами, приподнял форменную фуражку.

— Здравствуй, дорогая Пелагеюшка, — он подхватил её за локоть, и ей пришлось быстро переметнуть вязанную из вымятого лыка корзину в другую руку, — с праздником тебя, дорогушенька, с Троицей.

— И тебя с праздником, и Глаше тоже от меня поклон и поздравления.

— Так сама и поздравить Глашу-то. Она уже мне все уши прожужжала... Пирог, поди, уж испекла с икряным судачком-с. Зять расстарался. Ишшо с весны в леднике судак-то своего часа ждал. Ну, так как?

— Не смогу я, Боренька. Ночь не спала, прямо ноги уже не держат, глаза прямо закрываются. Шибко устала я. Вчера на могилку ходила. Наревела-а-ась... — и она будто в подтверждение своим словам достала платочек, промокнула увлажнившиеся глаза.

— Ну, ну, ну, — картинно повернулся Борис, — негоже в светлый праздник слёзы лить.

— А я уже и не лью — всё вылилось. Так пошто ты меня с таким тщанием разыскивал? — Пелагея резко сменила тему, присела на предложенный Борисом стул.

— По высокому повелению самого губернатора — его высокопревосходительства Фриде Алексея Яковлевича, а в первую руку — Императора нашего Николая Александровича, тебя позвал, чтобы вручить подарок в память, можно сказать, о Козьме... — Борис зашнурлся. — Так в бумагах и написано, что, мол, за заслуги, за рвение и прочая, прочая, прочая... Ну, что я тебе всю бумагу буду зачитывать? Много слов хвалебных удостоен Козьма Афанасьевич Климов.

Тут Пелагее захотелось, чтобы всё же прочитали всю бумагу, что там пишут о Козьме, какие такие слова об нём написаны в бумаге. И она уже повернулась лицом к Борису, и уже хотела оборвать его речь, но вдруг подумала, что не может заставлять Бориса читать всю бумагу. Ей чтение давалось с трудом, и она не хотела так утруждать Бориса, он же растолковал, что сам Император помнит Козьму, и за труды его вознаграждает.

— Сам Его Величество Император Николай Второй помнит его, — услышала она, будто после затмения мимолётного, — так что вот — прими, — Борис Михайлович сделал полуоборот в сторону своего письмоводителя.

В это время Игнатий Тихонович, туго знавший своё дело, поднёс Пелагее рогожный кулёк. Пелагея смиренно растеклась в благочестной благодарности. Вот она, надобность, в чём состояла, чтобы её разыскать. Защемило в груди, но Пелагея сдержалась, чтобы не разреветься. Ей захотелось воспеть хвалу и Императору, и губернатору, что, мол, не забывают Козьму, за память к его честной службе, но язык не шевельнулся. Она боялась, что со словами и слёзы душевного смятения взольются обильно, а там и до рёву недалече. Игнатий Тихонович так же тихо, как и вручил кулёк, взял его из рук Пелагеи, положил на большой стол, разгладил перед ней какой-то листок.

— Распишитесь в получении, — казённо изрёк он и ткнул пальцем, — так положено-с, — извинительно принизил голос письмоводитель.

Пелагея неловко взяла перо левой рукой, переложила в правую, наклонилась низко к бумаге, поставила в нужном месте неровный крестик чуть выше пальца письмоводителя. Не обученная с детства грамоте, она каждый раз, когда приходилось ставить в каком-то документе крестик, “тряслась нутром”, как она обычно говаривала, и рдела лицом. Игнатий Тихонович, заметив неровную дрожь в руке Пелагеи и яркий румянец, подумал, что нет нужды так взволновываться с каждым крестиком. Но разве может равняться

с ней, неграмотной женщиной, письмоводитель, каждый день исправляющий множество самых разных бумаг? А тут бумага от самого Императора, да и касается она еённого Козьмы, по десятку раз поминаемого вдовой каждый Божий день. Он промокнул свежие чернила и с усилием вытянул плотный лист из-под ладони Пелагеи. Всё это он сделал ловко и вовремя, ибо в тот же момент голова Пелагеи упала на стол. Раздались рыдания такие неистовые, что у стоящих за спиной мужчин невольно появились слёзы.

— Дождь в Троицу — слёзы по покойникам, — грустно заметил Борис Михайлович.

— А лило-то седни... а гремело... не приведи, Господи, — поддакивал как-то скорбно Игнатий Тихонович, слышавший большим знатоком разных поверий и примет.

Он, пока вдова громко всхлипывала, сотрясаясь плечами, уложил в плетёнку рогожий кулёк, тронул за плечи Пелагею. Она встрепенулась, будто очнувшись, произнесла в нос:

— Премного благодарна и губернатору, и Императору нашему. Дай Боже здоровья им — заступникам нашим. Детям покажу, пусть знают, пусть берегут... Как там здоровье-то Алексея Яковлевича? — вдруг заинтересовалась она, глянув Борису в лицо.

— Ничего обнадёживающего не говорят, — сухо сказал Борис, — шибко хворает наш губернатор. На Бога одна надежда. А вот же — ещё 14 дня мая сего года с рук Императора нашего Николая Александровича Орден Белого орла получить изволили. При народе... на коронации. Самолично в Москву ездил. И откуда она взялась, эта болезнь? — голос Бориса Михайловича притушился в скорбности до шёпота.

— Я седне молилась за здравие его. Читал батюшка, читал! Все молились. Народ-то всё знат, молится за здравие, молится, — всё повторяла Пелагея.

— Будем молиться. Можот, услышит Бог-от... Можот, не даст помереть безвременно... Всё в руках Божьих... Повезло нам с Алексеем Яковлевичем, повезло-о-о... Губернию во как подъял! — письмоводитель поднял вверх перст. — Вот только... Нет бессмертных, видимо, — как-то обречённо добавил Игнатий Тихонович, — всё в руках Божьих, всё в руках Божьих... — повторил и перекрестился на икону. Его примеру последовали Пелагея и Борис Михайлович.

31 октября 1961 года. Озеро Хантайское

Виктор обвёл взглядом потемневшие от постоянной копоти стены рублёной избы. Дневной свет едва разбавлял темноту её нутра. Он уже привык к этому скудному свету. За столом сидели его помощники, его друзья, его надежда. Три мальчика-подростка деловито черпали ложками сваренную вчера и подогретую на буржуйке уху. Изба после холодной ночи ещё не прогрелась, и уха курилась густым паром. Крупные окуни горкой возвышались в большом деревянном блюде.

— Пожалуй, из окуня уха повкуснее будет, чем из чира, — деловито гнусавым голосом хриловато изрёк Мишка. После сна голос ещё не обрёл привычной звонкости. Он набрал сухарей в руку, закинул в рот и с хрустом начал жевать, прихлёбывая деревянной ложкой курящуюся уху. Мишка принципиально ел деревянной ложкой, которую привёз с собой. Все знали историю этой мастерски сделанной ложки из берёзового капа отчимом Мишки на пятьсот третьей стройке.

— Да-а-а, — протянул Валерка, проглотив ложку варева, — окунь — для уха, а чир — для строганины.

— Надоел уже этот чир — сплошной рыбий жир, фу! — Рамазан смешно скорчил лицо. Он так и не привык к сырой рыбе. Его нутро не принимало жирную строганину, и он предпочитал этому деликатесу обычного варёного окуня или язя. Даже в варёном виде Рамазану чир не очень нравился — “слишком жирный”. Вот и сейчас он аккуратно выбирал косточки из окуня.

— Хоть бы птичку какую добыл, а, бригадир? — Мишка посмотрел на Виктора. — А то рыба уже во где, — он картинно резанул ладонью по горду. — Хлеб кончился, сухари тоже надоели.

— Понимаю, мужики, — проговорил хрипловато Виктор, теребя свою рыжую бороду, — всё уже обрыдло, но хорошо, что ещё есть сухари. Скоро и они кончатся. Вот тогда уж точно — беда.

Он оглядел своих “героев”, как иногда называл членов бригады. Хотел посмотреть реакцию на такую вот невесёлую перспективу. Никакого испуга или паники на лицах своих подчинённых Виктор не заметил: не тот народ, чтобы испугаться, — пуганые уже. А предположение Виктора выглядело не так уж и бесосновательно: все же знают, что недели две, как установился достаточно прочный лёд, уже прилетал самолёт, уже приняли на борт первую партию чира. Сбросили с самолёта два мешка провизии. Но, как в насмешку, один мешок содержал мыло, рукавицы, соль, брикеты с чаем и махорку, в другом — сухофрукты, перловка, консервы “Килька в томате” и несколько клеёнчатых фартуков, которые надевают работницы разделочных цехов. Больше всего обрадовались сухофруктам, но и горечь и досада приютжила рыболовецкую артель: хлеба в мешках не оказалось.

— Когда тут за птичками ходить, — продолжил Виктор, — целыми днями то с сетями возимся, то самолёт караулим. Вот прилетит сегодня, завтра же утром пойду за куропатками. Их там, за гривой, много бегаёт — всё истоптано. Да, Миша, должен признаться, ты был прав: то была росомаха. Она к нам в ледник забралась, несколько чиров стырила, падала. Я сутресь ходил к леднику — дорожку, думаю, прочищу. А там следы от гривы и до ледника. Выломала доску и украла рыбу. Так что ходит она тут, пока мы подушки мнём. Прямо рядом ходит.

— А ты мне не верил. Я же её вот так, как тебя, встретил... Чуть в штаны не наложил. Страшнющая, ужас один! Она подпрыгнула вот так над снегом. Я уж думал, она на меня, а это она от неожиданности, — Мишка оживился. Он рассказывал своим друзьям историю, как повстречался с росомахой, когда ходил на охоту по первоснегу. Росомаха выскочила из-за густой ёлки внезапно с птицей в зубах. Мишке показалось, что с тетёркой. От неожиданности она подпрыгнула на месте, подняв снежную запарошь, развернулась и скрылась в ельнике так же внезапно, как и явилась. Таким внезапным появлением, да ещё и прыжком из-под пушистого снега, испугала она Мишку вусмерть. Вот когда он понял смысл высказывания “речь потерял”. Какое-то время он действительно не мог и слова вымолвить. Тогда Виктор с недоверием слушал перепуганного парня. Мало ли чего почувдится малоопытному человеку в тайге...

— Не может, — приводил аргументы Виктор — опытный охотник, — росомаха так приблизиться к человеку. Она, поверь, тварь осторожная.

Мишка тогда настаивал, чтобы проверил, чтобы посмотрел следы, но даже этого не сделал Виктор, напрочь отвергнув даже самое малейшее предположение в таком событии. Теперь вот сам удостоверился, что не боится она человека — рядом ходит.

— Я уж, по правде говоря, думал, что это глухарь тогда из-под снега выпорхнул да испугал тебя. Извини, был не прав. Тут, в этой глухомани, зверьё совсем непуганое. Пока мы её не изловим, она нам покою не даст: раз уж закушала рыбу, так пока не вытаскат, не успокоится. Она и до запасов наших съестных доберётся, и до собак.

— Как же ты её изловишь? — вступил в разговор Валерка. — Говорят, она тварь умная. Не так легко её изловить.

— Есть способ. Потом покажу... А сейчас опять рыбу таскать будем на лёд. Вдруг сегодня самолёт.

— Вчера таскали, позавчера таскали... — как-то обречённо сказал Рамазан.

— Такая у нас работа, друзья мои дорогие, — бодро ответил Виктор, — расписания движения самолётов нет, это тебе не аэропорт. Тут “предположительно в конце месяца”, — Виктор изобразил сиплюю интонацию директора

рыбзавода, — и то, если погода не испортится. Но сегодня вроде погода ничего: метель прошла, ветер урезонился. Так что будем ждать.

— Будем ждать, — как-то обречённо буркнул Мишка.

— Что там на улице, а то я так на градусник и не глянул? — спросил бригадир обыденно.

— Тридцатник, — также обыденно ответил Мишка.

— Хоть ветра нет, и то ладно, — пробасил Валерка.

— Чую, самолёт сегодня прилетит. В первую очередь нужно остатки рыбы вытащить на лёд, да ту, что на льду, в ниточку выставить. Опять на ходу будем забрасывать.

— Сейчас вытащим, — буркнул Рамазан.

— Мишка, нужно рыбу привезти от дальних сетей. Собак запряги... Пусть промнутся. А ты правильно выбрал место для собак. Там бы под гривой оставили, уже не досчитались бы кого-то. Моего любимого Тарзана в позапрошлый год съели. Мы его в сених заперли от них же, от росомах, а сами пошли капканами заниматься. Приходим: дверь выломана, а собаки и след простыл: только лужа крови да шерсти клок. Вот всё, что осталось. Было такое дело, когда я промысловиком работал. Там-то и научили меня опытные охотники, как ловить росомах. Потом покажу. Тоже будете знать, может, и пригодится когда.

Все примолкли, слушая своего бригадира. Уже говорил он о каком-то хитром способе ловли росомах.

— Пока мы на дальние сети ездим, вы тут ближние проверьте, — обратился Виктор к Валерке и Рамазану, — и смотрите, верёвки не вморозьте... — но сначала рыбу вытащите.

— Знаем, не беспокойся, бригадир, сделаем, как надо, — ответил Рамазан, наливая компот из сухофруктов в бригадирскую эмалированную кружку.

— Ты сам-то компот уже пил? — поинтересовался Виктор строго.

— Да, наш бригадир-отец родной, — шутливо выпалил Рамазан, — все пили компот, все приняли витамины, — добавил он. Но в голосе уже отсутствовали шуточные интонации. Виктор строго следил за тем, чтобы в пище присутствовали продукты, содержащие витамины, а компот входил в этот список под номером один.

— Цинги мне тут ещё не хватало, — ворчливо скрипнул Виктор, — ну, ладно, иди, помогай мужикам, а тут я уже сам управлюсь. Скажи Мишке, что посуду вымою.

Виктор подвинулся к окну. На улице Мишка возился с собаками, распутывая упряжь. Собаки носились вокруг него, то и дело норовя лизнуть его в лицо. Надоело сидеть на привязи, почувствовали свободу. Валерка и Рамазан укладывали в сани мешки с мороженой рыбой. Делали всё не спеша, размеренно, деловито, словно всю свою жизнь выполняли эту работу.

А чему тут удивляться: сызмальства на реке, и зимой, и летом. И не забавы для, но ради прожитку на этой самой северной стороне рыбачили, чтоб в доме хоть рыбий хвост водился, чтоб с голодухи не окочуриться. Вот они, обученные жизнью, как управляют, не каждый взрослый так сможет. Мишка да Валерка здесь, на севере рождённые, а Рамазан... Не знал Виктор, как Рамазан на северах оказался, кто родители — тоже не знал. Слышал, что отца пристрелили при попытке к бегству, а что случилось с матерью, никому не ведомо. Ушла в лес и не вернулась — так молва обказывала её таинственное исчезновение. Говорили, что на совести воров её жизнь. Интернатовский Рамазан сейчас у тётки живёт. Что-то ещё хотел припомнить о своих подопечных Виктор, но так ничего не наскреблось в его памяти. Не было в привычках переселенцев ли, осуждённых ли особо интересоваться чужими судьбами, но, так сказать совать не в своё дело: со своими-то наворотами не все могли разобраться. Каждый свою тайну носил в сердце, каждый свою боль таил.

Вот таким подростком он в 1947 году вместе с семьёй был выслан в Сибирь. Отчего же его сразу не расстреляли, зачем было столько измываться

над человеком, над отцом, Богом поставленным во главе семейства, чтобы хранить детей, жену, чтоб в нужде плечо сильное подставить, чтобы в стужу укрыть. Так думал Виктор теперь, вспоминая судьбу отца, умершего на стройке № 503 от непосильного труда и болезней. Неужто судьбой ему было так навешано, чтобы испытать непомерные муки телесные и душевные. Такие мысли часто роились в голове. Разве забудется тот длинный, страшный и мучительный путь от родной и тёплой Рыбной слободы до чужой и холодной Игарки сначала на трясучих телегах, потом на поезде в душных товарных вагонах, и в заключение — в душном трюме ржавой баржи. Странное ощущение тогда овладело им: душно, воздуху не хватает, смрадно, но вместе с тем — как-то зябко, сыро. Тепло, вот что помнится, тепло, исходящее от отца, от его постоянного присутствия рядом. Даже не рядом, а плотно прижатого к его юношескому худенькому тельцу.

Его ладони обхватили старую эмалированную кружку с затёртыми, еле угадывающимися царскими вензелями. Только на охоты да на рыбный промысел брал эту кружку Виктор. Дома он ею не пользовался, оберегая от чужих глаз. Компот не жёг руки, а приятно грел ещё сохранившимся теплом. Виктор встрепенулся от наваждения, от мучительных воспоминаний. Это тепло, исходящее от кружки, взбудоражило память. Он повернул кружку, рассматривая на свету сохранившийся рисунок.

Заголосила женщина рядом. И все всё поняли. Она обвела людей безумным взглядом, прижала бездыханное тельце своей маленькой доченьки. Худенькие ножки в маленьких затёртых сандалиях безжизненно колыхнулись, безвольно застыв вместе с окаменевшей матерью. Женщина, только что потерявшая ребёнка, смолкла, через гнетущую паузу произнесла тихо и беззлбно:

— Не дам выбросить в воду. Дайте похоронить по-христиански.

Умерших в начале пути выбрасывали за борт. Стражники не церемонились. На берег арестантам выходить запрещали, боясь побегов.

Но теперь пароход так далеко ушёл на Север по Енисею, что охранники позволили похоронить малютку. Бежать там уже некуда. Вызвался помогать в погребении отец Виктора Ерофей Савельевич и священник отец Онуфрий. Он был одет в одежду, ничем не отличающуюся от других. Разве что из-под рваной фуфайки выставлялась какая-то чёрная длинная рубаха, что выделяло его среди арестантов.

Молодой охранник, кстати, сам вызвавшийся конвоировать погребальную процессию, когда девочку отпели и могила была зарыта, а над холмиком водрузили самодельный крест, подошёл к священнику.

— Отец Онуфрий, — сконфуженно и тихо произнёс он, — а можно меня покрестить?

— Ты точно не крещён? — спросил строго батюшка.

— Нет.

— Раздевайся! — скомандовал отец Онуфрий.

— Й-й-я?

— Быстро, пока нас не хватились, да и здесь за поворотом нас не видно с баржи, быстрее. Да не бойся ты, никто не тронет твоё оружие.

И парень стал раздеваться. Отец Онуфрий закатал свои широченные брюки выше колен, зашёл в воду. Следом быстро заторопился и парень, казавшийся щупленьким подростком с тонкой шеей и очень бледной, давно не выдавшей солнца кожей.

— Как тебя зовут? — спросил мягко священник.

— Николай.

— Вот сюда проходи, тут глубже. — Отец Онуфрий взял за руку Николая и, как ребёнка, проводил, где было поглубже.

И тут священник достал из-за пазухи медный крест, обмакнул его в воду и громко произнёс

— Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Крещается раб Божий Николай...

Он возложил руку на голову Николая и силой наклонил его к воде. Николай послушно присел, наклонился, погрузив голову в воду, и так трижды.

“Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!” Голос священника летел над водой. Отец Виктора с опаской посмотрел в сторону баржи, но её не было видно, и, конечно же, отсюда молитва священника не могла долететь до ушей начальства так необычно крещённого Николая.

После совершённого обряда отец Онуфрий извлёк из кармана деревянный крестик с дырочкой для нитки. Но ни у кого нитки не оказалось, и тогда Священник снял свой нательный крестик, разорвал нитку, вдел её в деревянный крестик и повесил на шею Николаю. Свой же крестик он бережно спрятал во внутренний карман.

— Носи этот крестик, он самый дорогой — с ним ты крещён Николаем.

— Поздравляем, Николай, — произнёс отец Виктора Ерофей Савельевич.

— Поздравляем, — присоединились и родители умершей девочки.

— Беги в кусты, выкручивай трусы. Мы подождём, покараулим оружие, — весело сказал отец Онуфрий.

Николай исполнил, как велел священник, затем оделся по форме, и все в каком-то возвышенном и приподнятом настроении, несмотря на только что совершённое погребение маленькой девочки, вернулись на баржу.

Виктор помнит, как, вернувшись на баржу, вечером, когда солнце присело к горизонту, спрятавшись в слоистые облака, и стало чуть сумеречнее, нескольким арестантам разрешили подняться на палубу. Отец открыл бутылку мадеры, которую так долго сохраняли в семье, как самую дорогую реликвию.

— Эта мадера хранится в нашей семье с 1896 года, — глухо произнёс Ерофей Савельевич.

— От чего же это так бережно хранили её? — спросил отец Онуфрий.

— От бабушки слышал, что сам Император Николай Второй прислал, — Ерофей Савельевич заозирался при произнесении вслух имени царя.

— О как! Сам император! — воскликнул отец похороненной сегодня девочки.

— Так, можот, не надо открывать... — виёс сомнение священник.

— Открою, — Ерофей Савельевич вытащил уже пробку, — куда её. Обнаружат — отберут, так уж лучше сами... Да вот и повод такой: и печальный, за упокой души выпьем, и светлой повод — за рождение ещё одного христианина.

— Благословляю! — возвысил голос отец Онуфрий, однако не настолько, чтобы выдать себя, чтобы услышали те, кому слышать не нужно.

— За упокой души...

— За вновь рождённую душу...

Выпили за усопшую девочку и вновь крещённого Николая тихо, с благословения отца Онуфрия.

Дверь избы резко открылась. Виктор даже вздрогнул от неожиданности, и сразу явилась реальность вместе с морозным клубящимся по полу воздухом.

— Самолёт! — закричал Валерка.

Виктор быстро оделся, выскочил на улицу.

— Бросайте всё! Быстро на лёд! — Крикнул он. Его команда и так уже готова была к встрече самолёта, который, сделав круг, начал заходить на посадку с дальнего берега. Пока самолёт вырубивал к выставленным в одну линию мешкам с рыбой, бригада была уже на льду. Двери “кукурузника” открылись, и в проёме двери показался Килька.

— Здорово, мужики! — крикнул он. — Принимайте хлебушек, поди, соскучились по хлебу! — хрипло кричал он, пытаясь пробиться сквозь рычащий двигатель. Из дверей вывалился один мешок, потом ещё один. Самолёт скользил на лыжах; поравнявшись с мешками с рыбой, он чуть притормозил, но, однако, не остановился. Лётчику категорически запрещалось останавливаться на льду. Виктор с Валеркой подхватили один мешок, забросили в открытую дверь, потом следующий; самолёт подрулил уже к Мишке и Рамазану. Те так же ловко забросили в самолёт два мешка, а в это время Виктор с Валеркой перебежали к следующим мешкам. И так по цепочке, мешок

за мешком рыбаки закидывали мороженого чира в нутро самолёта, а там уже орудовал бортмеханик, по совместительству штурман.

— Всё, хватит! — крикнул Килька. — Сколько у вас ещё осталось?

— Да с десятков мешков. Чир уже не ловится! — кричал Витька. — Можете забирать нас! У нас продукты кончаются!

— Следующим рейсом остатки рыбы заберём и вас! К седьмому ноября будете дома! Готовьтесь! — крикнул Килька и захлопнул дверь. Самолёт набрал скорость, оттолкнувшись от снежной глади, ушёл круто вверх и вскоре скрылся за лесной хребтиной. Снова наступила привычная тишина.

— Мы всегда готовы... — тихо произнёс Виктор, но слова прозвучали как-то убежденительно и даже обречённо.

Притащили мешки в избу. В одном содержалось десять буханок белого хлеба, гречневая крупа. Зачем-то снова рыбные консервы и бутылка с подсолнечным маслом, очень кстати присланная, ибо своё масло уже было на исходе. А в другом мешке — меховые рукавицы, стёганые ватные штаны на всю бригаду и ватные фуфайки.

— Если забирать собираются, так зачем одежду выслали? — удивился Виктор.

— Пригодится, — обыденно произнёс Валерка.

— Накаркашь, — недобро зыркнул на него бригадир.

— Попируем?! — торжественно изрёк Рамазан и разрезал булку хлеба. Изба наполнилась аппетитным хлебным ароматом.

Москва, ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года

20:00. Кабинет первого Секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва.

Просторный кабинет. Тяжёлая мебель из тёмного дерева. Несмотря на то, что люстра одаривала электрическим светом всё пространство кабинета достаточно щедро, Никита Сергеевич включил настольную лампу, подошёл к боковому бра, щёлкнул включателем. Все лампочки в кабинете были включены. Он сел в своё уютное кресло, которое подогнали под фигуру первого секретаря тщательнейшим образом, как только судьба усадила его за этот непомерно большой стол. Дававший о себе знать всё чаще радикулит и сегодня напомнил о себе. Никита Сергеевич, уместившись удобно, покряхтев, забарабанил по столу пальцами, как делал обычно в минуты нетерпения или нервного ожидания.

Раздался резкий звонок, дверь распахнулась

— Товарищ первый секретарь, — громко рапортовал человек в полковничьих погонах, — члены комиссии по перезахоронению...

— Зови! — нетерпеливо перебил его Никита Сергеевич.

Кабинет заполнился офицерами — членами комиссии по перезахоронению Сталина, вчера назначенной Президиумом ЦК КПСС. В помощь комиссии, состоящей из пяти человек, было привлечено несколько военных. Сам Никита Сергеевич утвердил список, поданный Шверником, председателем комиссии. Три человека выделялись тем, что были в штатском. Никита Сергеевич на каждом ненадолго задержал свой взгляд, словно пересчитывал, будто сличал со списком. Вопрос о выносе тела Сталина был решён на только что закончившемся XXII съезде КПСС. Нужно было рассмотреть детали такой щепетильной процедуры, так неоднозначно воспринятой партийной и военной верхушкой. Большинство боялись засветиться несогласием с принятым решением, ибо иное мнение грозило самыми жёсткими последствиями, вплоть до...

— Садитесь, товарищи! — отрывисто произнёс Никита Сергеевич. Он с большим, чем обычно, тщанием рассматривал сидящих за столом офицеров. Каменные лица, невыражавшие никаких эмоций, не дрогнули под пристальным взором своего главнокомандующего.

— Могилу вырыли? — грохнуло в наступившей тишине.

— Т-так точно, товарищ первый секретарь! — выпалил Николай Михайлович Шверник, первым выступивший с докладом о проведённой работе

на правах председателя комиссии. Он, несмотря на свой преклонный возраст, вскочил с такой рьяностью, что массивный стул взвизгнул, скользнув по паркету. Он подобострастно глянул в хозяйские глаза.

— Площадь оц-ц-цеплена, могилу обнесли фанерными щитами, как было принято на первом заседании комиссии. Привлечены товарищи из в-в-оенных... — он обвёл глазами присутствовавших за столом. В моменты волнения Николай Михайлович чуть заметно заикался.

— В газеты подготовили материал? — Никита Сергеевич строго посмотрел в сторону первого секретаря и председателя исполкома Москвы, сидевших рядом в конце стола, — про подготовку Красной площади к ноябрьским торжествам напишите, чтоб не было там всяких кривотолков вокруг, чтоб народ успокоить. И так уже ползут сплетни всякие. Не успеешь пёрднуть, как все знают. Эти Евтушенки, Ахмадуллины, Солженицыны так и ждут чего-то такого. Им только на зубы попадёт, так не отмоешься от дерьма... Чтоб завтра уже в газетах было про подготовку к параду, ремонт мостовой, ещё что-нибудь придумайте... Что-нибудь про благоустройство там... Придумайте... Репетицию парада проведите, и пусть журналоги эти напишут, — нетерпеливо ворчал главный.

— Всё подготовлено, — вступил тихим вкрадчивым голосом Николай Александрович Дыгай, — завтра и в “Правде”, и в “Известиях” выйдут статьи, по радио московскому и по “Маяку” пройдут сообщения о подготовке Красной площади к сорок четвёртой годовщине Великой Октябрьской революции и о репетиции тоже.

— Гроб готов? — грубо перебил Хрущёв

— Так точно! Готов, товарищ первый секретарь! — по-военному строго отрапортовал генерал Фёдор Тимофеевич Конев. Именно ему было поручено это ответственное дело. Он намеренно не назвал Никиту Сергеевича главнокомандующим. Всю войну провоевавший под командованием Сталина, генерал воспринимал Хрущёва ниже себя по званию. Хрущёв чувствовал это несколько презрительное отношение высшего генералитета армии к своей персоне, и это его в какой-то мере раздражало.

— Кто понесёт? Мне там лишние люди не нужны, — резко скрипнул Никита Сергеевич.

Из-за стола поднялся генерал Андрей Яковлевич Веденин.

— Товарищи офицеры! — пророкотал он. Встали несколько человек в военной форме.

— Это надёжные люди, проверенные, — с хрипотцой в голосе произнёс генерал. Именно ему было поручено подобрать команду офицеров для выполнения миссии.

— Надёжные, говоришь? — Никита Сергеевич поднялся, прошёлся по кабинету, рассматривая вытянувшихся в струнку офицеров.

— Так точно, надёжные, — повторил генерал глухо.

— Ну, что ж, приступайте, — первый секретарь тяжело приземлился на стул, обхватил голову руками, произнёс тихо, чтобы никто не слышал: “Ну, вот и всё...”

Никита Сергеевич остался доволен этим коротким совещанием: каждый знал своё дело и место, каждый готов был выполнить любой приказ, и это приятно щекотнуло его до болезненности взрослее самолюбие. “Вот где они у меня!” — он стиснул кулак.

— Зароете, и в столовой жду всех... — возникла пауза, — на поминки... Ну, по-нашему, как положено. Я распорядился, чтобы накрыли стол. Всем всё понятно? — Он строго зыркнул глазами, вытер вспотевший лоб. — Приступайте! — скомандовал он. — А вы, товарищ Шверник, останьтесь.

Николай Михайлович Шверник подошёл к столу, за которым стоял Хрущёв, по-хозяйски манящий его пальцем, и тот вплотную подошёл к своему начальнику.

— Вот что, Николай Михайлович, обращаюсь к вам как к председателю комиссии, — чуть ли не шёпотом заговорщицки произнёс Никита Сергеевич. — Есть мнение ЦК: золото нечего в землю зарывать. Сними Золотую Звезду Героя Социалистического Труда с мундира нашего генералиссимуса, —

тут Никита Сергеевич криво улыбнулся, — и пуговицы золотые срежь, простыми медяшками замени. Золото сдать в Охранную палату: для истории пусть останется, — уже строго, с нажимом закончил Никита Сергеевич.

— Будет исполнено, — с готовностью ответил Николай Михайлович и почувствовал, как зануло сердце, как заломило за грудиной. Он придержался рукой за стол, чтобы не пошатнуло, чтобы не выдать слабости, чтобы не заподозрил шеф в лояльности к бывшему...

21:00 Москва. Мавзолей.

Ровно в 21 час восемь офицеров вошли в Мавзолей. Как по команде, подняли саркофаг и направились к лестнице, ведущей в подвал. Там уже стоял гроб, обитый красным кумачом, отороченный чёрной лентой.

— Вы, вы, вы и вы... Перенесите тело в гроб, — негромко скомандовал Шверник, и голос его дрогнул. Четыре майора немедленно подошли к саркофагу, открыли его. Какое-то время, не решаясь притронуться к священному телу, как считал каждый из них; они всё же осторожно перенесли тело Сталина, поместили в гроб. Образовавшийся круг членов комиссии с опущенными головами придавал всему этому действию особую скорбность и трагичность. Старик Шверник не смог сдержаться, его глаза предательски заблестели. Он поднёс к глазам носовой платок, и тут тишину разорвали громкие рыдания. Ведь именно при Сталине он достиг высшей точки своей карьеры. Он и сейчас на мёртвого бывшего шефа смотрел с необъяснимой благоговейностью и даже страхом. А вдруг разлепятся глаза, а вдруг разверзнутся уста...

Товарищи по партии постарались не заметить проявленной слабости со стороны председателя комиссии, но, естественно, запомнили.

Николай Михайлович громко просморкался, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку.

— Товарищ Мошков, — наконец-то произнёс Шверник, нарушив образовавшуюся тишину. Он подошёл вплотную к полковнику, — вам поручается ответственное дело. Приказываю снять с мундира Сталина Золотую Звезду. Пуговицы золотые срежьте и пришейте вот эти, — он разжал кулак и передал полковнику простые медные пуговицы. Полковник Мошков недоуменно посмотрел на своего старшего товарища.

— Хрущёв распорядился. Это не моё решение, — сказал он мягко, — пожалуйста, прошу... Никита Сергеевич сказал, что нужно для истории оставить. Велел сдать в Охранную палату.

— Товарищи офицеры, — скомандовал генерал Веденин, — поднимаемся в Мавзолей. Есть ещё одно поручение.

И они быстро покинули подвальное помещение лаборатории, чтобы передвинуть саркофаг Ленина на середину мавзолея, на то место, которое он занимал до подселения Иосифа Виссарионовича Сталина.

В темноте ноябрьской ночи, скудно подсвеченной ручными фонариками, Сталина в заколоченном гробу опустили в яму, каждый из участников церемонии погребения бросил горсть земли в могилу, солдаты спешно засыпали её, водрузили на место захоронения подготовленную заранее гранитную плиту с надписью “СТАЛИН ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 1879–1953”. И здесь не сдержался Николай Михайлович. Рядом стоявший товарищ Джавахишвили тоже вытирал мокрые глаза, его плечи тоже вздрогнули, сотрясаясь чередой произвольных конвульсий. Вокруг могилы, понуро опустив головы, в могильной тишине стояли бывшие соратники Сталина. Можно было только догадываться, какие чувства испытывали они в такой скорбный час.

7 ноября 1961 года Озеро Хантайское

— Не нравится мне это. Очень не нравится. Обещали, что 7 ноября будем праздновать дома... — задумчиво сказал Виктор, глядя в окно. Он, характерно обняв ладонями свою кружку, отпивал маленькими глотками чай. Наступила тягостная тишина.

— И что делать будем? — спросил Мишка деловито и въедливо.

— Ждать, — коротко ответил Виктор. И столько в этом “ждать” уместилось, что каждый ощутил какую-то безысходность, тоску и безнадегу.

— Сколько ждать? — спросил Валерка. — У нас еды-то на неделю-две. Я имею в виду — хлеба, сухарей. Сухофрукты кончаются. Рыба уже обрыдла.

— Сколько у нас там муки осталось? — спросил Виктор.

— Да килограмма три, не больше.

— Не разбежишься, — мрачно произнёс Виктор. — Так, мужики, на паёк с сегодняшнего дня садимся. Валерка, ты ответственный: по кусочку хлеба и горсти сухарей в день! — возвысил он голос. — Сахар? — спросил он строго.

— Сахару достаточно — почти полмешка.

— Хорошо, — мягко произнёс бригадир, — будем подслащивать себе жизнь. — Прозвучало это как-то неубедительно, и даже фальшиво.

На фоне окна из тёмного угла Мишке бригадир казался этаким огромным великаном, заслонявшим тусклый бледно-молочный свет, протискивавшийся через небольшое окно. Сегодня 7 ноября, а настроение у всех совершенно не праздничное, скорее наступившее пасмурное утро внушало обитателям этой тёмной рыбацкой избы если не печальные, то, во всяком случае, невесёлые мысли о дне сегодняшнем и завтрашнем.

Вдруг с какой-то ясностью он ощутил тревогу, он содрогнулся перед неотвратимой неизбежностью беды. Именно так он ощутил проскочившую тревогу в словах Виктора. Бригадир так вот просто, без веских на то причин, не стал бы пересчитывать оставшиеся продукты. А тут прямо на паёк посадил... “Дела плохи” — промелькнуло в голове. Он это чувствовал, с одной стороны, по-детски наивно и простодушно, но с другой — опираясь на уже имеющийся опыт.

Все ведь знали, что до праздников их должны были забрать. Они уже собрали всё необходимое, они были готовы в любую минуту выскочить на лёд, погрузиться в самолёт. Но самолёт не прилетел, связи с рыбзаводом не было: аккумуляторы сели окончательно, рация стала бесполезной железячкой. Мишка обвёл взглядом избу. Молчаливые мрачные лица, неподвижный тёмный силуэт бригадира на фоне окна.

— А взлётную полосу я подготовил, — сказал Рамазан, разорвав гнетущую тишину.

— Ну, и добре! Сегодня уж точно самолёта не будет, — отозвался Виктор.

Подготовить полосу — это значило пройти вдоль выстроенных в линию мешков с рыбой и стряхнуть снег с ёлочек-маячков, воткнутых возле каждого мешка и дальше, на длину посадочной полосы. Около пятисот метров на фоне белого снега стояли ёлочки, воткнутые в снег на расстоянии друг от дружки 10–20 метров. Каждое утро Рамазан, добровольно взявший на себя эту обязанность, проходил вдоль посадочной полосы и стряхивал снег, чтобы было видно издалека. Это и называлось “подготовить взлётно-посадочную полосу”.

— Пойду, куропаток постреляю, — сказал глухо Виктор.

— Я с тобой, — сказал Мишка, — всё равно делать нечего.

— А вы с Валеркой смородины наломайте, пока тепло установилось, наварите чаю со смородиной. А то запасы уже кончаются, — обратился Виктор к Рамазану и Валерке.

— Ладно, — ответил Валерка. — Там у нас ещё корни шиповника остались.

— Пригодятся, — ответил тихо Виктор.

— Мы что, тут зимовать собираемся? — затревожился Рамазан.

— Зимовать, не зимовать, а сколько тут задержимся, никто не знает. Если самолёт в ближайшие две недели нас не заберёт, то... — Виктор запнулся.

— То нам кирдык? — спросил развязно Мишка.

— Ты эту панику брось, — погрозил пальцем Виктор. — Тогда придёт сам выбораться. Зиму нам тут не вытянуть.

— Очень оптимистично звучит. И паники не нужно, — буркнул ехидно Мишка.

— Поговори мне тут, — строго, по-отечески сказал Виктор, — собирайся! Ловушку заодно на росомаху поставим, а то надоела уже воровка, сколь рыбы перетаскала да перепакостила. Я там одну рогатину заметил.

Виктор топориком снял кору у места, где ёлка разделялась на два ствола под достаточно острым углом.

— Вот такую рогатку и нужно подыскать для ловушки — это первое дело. У неё рука-то в этом месте широкая, — Виктор показал на свою ладонь, — вот и застрянет, — говорил Виктор, пока снимал кору в месте развилки. — Кору снимешь, оно в этом месте будет скользко, лучше встрянет.

— Это ты хорошо придумал, — соглашается Мишка, помогая.

То топорик подаст, то притащит какой-то пенёк да пару валежин, чтобы Виктору лучше было работать. Развилка-то высоковатого.

— Вот эту подставочку ей приладим, но так, чтобы, когда попадётся, выбила её из-под себя. Так, жиденько сделаем, лишь бы достала приманку.

— Ловко придумано, — удивляется Мишка.

— Росомаху — зверь хитрый, чтоб поймать, нужно и самому покуме-
кать.

— Понятное дело.

Виктор достал из рюкзака тонкий тросик, сделал петлю.

— Вот так прикрепим, а как она тронет приманку, её и затянет этим бревном. Такая вот хитрость. И куда она денется, если лапу ей вот так прищепит в расщелине?

— Так она ещё и повиснет под собственным весом, — подтвердил Мишка.

— Всё правильно. Так рассчитано. Ну, теперь рыбу здесь оставим для приманки, ещё куропаточку привяжем, пёрышки разбросаем, кровью по стволу намажем... Придёт она, придёт, — повторил Виктор.

— Куда она денется. Жрать захочет — придёт.

И пришла росомаху, на следующий день пришла, не заставила себя долго ждать. Она, судя по следам, далеко и не отходила от избушки. Поняла, что есть чем поживиться, вот и крутится рядом.

Мишка обнаружил. Он вечером сходил к ловушке — нет никого. Ночью вместе с Виктором сходили — нет. А утром пошёл: издали услышал ворчание какое-то. Подходит, а она висит да крутится, как уж на сковородке. Подбежал Мишка к ней, руки дрожат, прицелился, выстрелил раз, другой в запале. Обвисла росомаху, замерла. Подойти к ней страшно. Пошёл за Виктором. Вся бригада ринулась к ловушке. Виктор освободил дошедшего зверя, бросил на снег.

— Ох, и здоровущий! — воскликнул Валерка.

— Да, — подтвердил Виктор строго, но обыденно, как долженствует опытному охотнику, — хороший экземпляр. Самец.

Чтобы не испортить шкуру и как надо высушить, Виктор топором выстругал доску, закрутив её у головы, натянул шкуру мездрой наружу. Затащив в избу, он принялся сдирать жир с мездры.

— Жирный, смотри, какой, — приговаривал Виктор.

В это время молодёжь баловалась чайком. Валерка наварил чаю со смородиновыми ветками, добавил туда шиповниковых корней, чтобы наварились витамины. Виктор, вдыхая смородиновые ароматы, тихо радовался, что сумел-таки привить пацанам привычку варить витаминный чай. А как же, думал он, уже два месяца тут торчим.

— Чай — прямо лечебный; запах такой, что голову кружит, — говорит Рамазан.

— Так стараюсь, — говорит Валерка. — Налить? — спрашивает, обращаясь к Виктору, занятому работой.

— Налей. В пятьдесят третьем мамка у меня цингой заболела. Еле вытаскивали тогда. Хорошо, что доктор Зильберт Илья Ефимович спас. Может, помните такого доктора?

— Кто ж его не помнит? Воры зарезали, сволочи, — пробасил Мишка, — моя бабушка с ним дружила. Он и её лечил. Тоже, можно сказать, спас. Вот что он им сделал? — возмущался Мишка.

— Воры есть воры. Там, кстати, без Клеца не обошлось, да только вот пойди, докажи, — Виктор отпил чай.

— Да, в пятьдесят третьем многих выпустили на волю. И политических, конечно, много вышло, но и воров тоже немало, — вступил в разговор Рамазан, — и мама, говорили, тоже от воров пострадала.

— Я помню, — Мишка задумчиво посмотрел в сине-фиолетовое окно, — я тогда ходил во второй класс, как вдруг кто-то принёс весть, что Сталин умер. Мы как раз были в спортзале. Там потолок высокие. И во всю стену — до самого потолка — был нарисован Сталин. Его сапоги кончались на уровне моих глаз. И вот мы стоим всем классом вокруг матов. Учителя плачут навзрыд, и мы плачем. Я смотрю на эти начищенные сапоги сталинские и реву прямо в голос. Это одно, чем запомнился пятьдесят третий. А ещё, вот Валерка помнит, он тоже там был. Ты же крестился там! — обратился Мишка к Валерке. — Какой-то священник освобождённый со стройки добирался домой через Игарку. Так вот, он устроил крещение в Медвежьему логу. Нас — пацанов, девчонок, — однако, человек тридцать-сорок набралось. Кто известил, кто собрал, не могу знать. Меня бабушка туда привела. Как-то все узнали об этом крещении. Мы в воду зашли по пояс: вода холодная, но не ледяная — июль месяц всё же. А священник ходит среди нас прямо в одежде, читает молитвы и каждого окунает в воду: “Во имя Отца и Сына, и вовеки веков! Аминь!” И головой в воду. Окрестил всех довольно быстро. Спешил, видимо, чтобы не помешали. И каждому крестик деревянный вручил на нитке крепкой. Я так понимаю, что он заранее их наделал. Значит, готовился. Вот так меня крестили в пятьдесят третьем...

— Помню я это крещение, — сказал Виктор, — а знаешь, что за священник крестил вас? Это же был отец Онуфрий, что крестил красноармейца Николая на барже, который и девочку умершую отпевал. Он меня узнал. Подошёл я к нему, стою. “Благословите”, — говорю, он перекрестил меня, смотрит в упор. “Я, — говорю, — Виктор, мы на барже вместе плыли...” — “А я-то думаю, где видел, — говорит. — Такой рыжий парень мне уже встречался. Помню, помню... Я с твоим отцом Ерофеем Савельевичем в одном бараке жил на стройке. От непосильной работы умер. Простыл и сгорел за три дня. Похоронили. Я отпел его, царство ему небесное. Хороший человек был”. Вот что рассказал тогда отец Онуфрий. Но он спешил, и нам не удалось поговорить дольше. Но от того, что он отпел отца, что похоронили по-христиански, мне даже как-то легче стало. Узнать бы, где могила, да где там? Отец Онуфрий спешил на пароход. Ради этих крестин здесь и останавливался.

— Помню, помню, меня тоже крестили там, — подтвердил Валерка.

— Видишь, Ромка, народ-то у нас всё крещёный, значит, прорвёмся, — обратился бодро к сидящему тихо у окна Рамазану Виктор.

— Русский Бог крепкий, Он поможет нам, — твёрдо ответил Рамазан.

— А не на кого нам больше надеяться, — произнёс глухо Виктор, — окромя себя и Бога.

Шли дни, а самолёт всё не прилетал. Каждый день Рамазан бежал на лёд, страхивал с ёлок снег, всматривался в небо, будто со льда его лучше видно. Уже иссякали запасы сухарей. Муку берегли на последний, как говорится, случай. Уже никто не требовал от Мишки рассказать анекдот. Да и кончились уже анекдоты: приходилось повторяться, что не вызывало смеха. Смешные истории, которых тоже в изобилии знал Мишка, вызывали горькую досаду. Даже разговаривать между собой стали мало, будто лень сделалось ворочать языками. Все чего-то ждали, и это “что-то” был самолёт, который не прилетал, и надежда таяла с каждым днём. Всё чаще ребята посматривали на своего бригадира, ожидая, что он каким-то чудесным образом разрешит главную проблему. Уже несколько раз Виктор намекал, что придётся добираться пешим ходом. И все понимали, что дело это почти неосуществимое,

ибо почти двести километров пройти по снегу в такие морозы пешком — это риск смертельный.

Ударили морозы за сорок. Решили переждать. Наступила полярная ночь. Теперь уже точно самолёта не будет. Ночью на озеро никто посылать самолёт не будет — слишком рискованно.

И вот немного попустило, градусник уже второй день показывает тридцать. Но подул ветер. Так всегда на севере: как только уходят морозы, приходят метели.

И всё же решили выбираться из этого опостылевшего логова. Виктор строго осмотрел каждого: проверил одежду, лыжи, рюкзаки, потрогав лямки.

— Запасные варежки не забыли?

— Не забыли, — чуть не хором ответили ребята.

— Спички?

— Есть.

— Так... топоры, посуда, одеяла... — перечислял Виктор, чтобы не забыть, чтобы не произошла непоправимая ошибка. Дорого может стоить забывчивость или пренебрежительность к мелочам.

— Ну, что, трогаем! — скомандовал Виктор, когда всё было упаковано, увязано. — С Богом! — он широко перекрестился и шагнул на лыжах в пургу. За ним с вигом взяли с места собаки, следом — Рамазан и Валерка с рюкзаками на плечах.

31 октября, Москва, 22 часа 00 мин. Кремлёвская столовая

— Товарищи, — нарушил гнетущую тишину Никита Сергеевич, — мы сегодня выполнили волю народа: захоронили Иосифа Сталина у Кремлёвской стены. Ни у кого не должно остаться ни малейшего сомнения в том, что данное решение правильное и справедливое. Я ещё раз зачитаю постановление XXII съезда нашей партии. — Хрущёв достал из внутреннего кармана листок, расправил его: — “Серьёзные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее Владимира Ильича Ленина”. Это, товарищи, постановление съезда, это воля делегатов, а значит — воля народа!.. — В этом месте он посмотрел на сидящего рядом с ним Спиридонова, озвучившего с трибуны съезда это важное решение партии. — Вот Спиридонов с высокой трибуны съезда об этом говорил. От имени всего советского народа говорил... Это я сейчас процитировал слова из его доклада, товарищи. — Хрущёв потряс в воздухе бумагой и, окинув всех острым взглядом, продолжил: — А мы должны учитывать эту волю, на то мы и есть народная партия. Вы выполнили важное поручение нашего советского народа. Мы, товарищи, несмотря на все недочёты, указанные выше, помним о роли товарища Сталина в годы становления советской власти, в победе в Великой Отечественной войне, и похоронен он в самом центре нашей столицы, товарищи. Мы будем помнить его, чтить его память, но и об ошибках нужно помнить. Культ личности, — в этом месте Хрущёв поднял указательный палец свободной руки вверх, — это, я вам скажу, политическая ошибка, это допущенная близорукость... Выпьём, товарищи, за упокой души его, пусть покоится с миром.

Все враз встали одновременно без всякой на то команды, так же синхронно подняли рюмки с уже налитым коньяком, опрокинули, как по команде. Со стороны могло показаться, что все движения были тщательно отрепетированы. И это предположение не так уж далеко от истины, ибо поводов, собирающих людей за столами, бывает в жизни каждого человека достаточно для того, чтобы действовать в каждом случае так вот стадно, так единообразно.

— Пусть земля ему будет пухом, — сказал негромко отставший от коллектива Николай Михайлович. Но услышали все. Он не знал, что бы ещё сказать в такой ситуации, он боялся сболтнуть лишнего, он уже испугался и того, что невольно вырвалось. Сердце сжалось, отдалось жгучей болью за грудиной. Левая рука в бессознательном порыве потёрла больное место.

И это заметили присутствующие. Многие знали о его “сердечных делах”. Чисто по-человечески он почувствовал некую несправедливость, свершённую сегодня по отношению к только что погребённому вождю. Теперь уже — бывшему. Николай Михайлович ощутил холодный животный страх и поймал себя на мысли, что привык бояться всего: бояться прямо зубодробительного взгляда Сталина, теперь он вздрагивал с первыми нотками визгливого окрика Хрущёва, он боялся ночных звонков, стука в дверь, он боялся любого шороха, он боялся тишины... Вдруг он встретился с холодным пронизательным взглядом Ивана Спиридонова.

Он знал, что молодой Иван Васильевич метит в ЦК. Первое важное поручение первого он уже выполнил: озвучил волю народа о захоронении Сталина на съезде. Николай Михайлович опрокинул рюмку, ощутив ожидаемую жгучесть во рту. Его передёрнуло, судорогой свело рот, который он прихлопнул ладонью, потом помахал перед устами. Проглоченный коньяк рвался обратно, сотрясая живот конвульсиями. Иван Васильевич криво улыбнулся. Эта сдержанно-ироническая усмешка царапнула израненную душу Николая Михайловича. Все знали, что первая рюмка Николаю Михайловичу даётся трудно. Это даже стало причиной для насмешек.

— Ничего, после третьей покатыт, — криво улыбнувшись наискось, шепнул Никите Сергеевичу Спиридонов. Никита Сергеевич, не привыкший сдерживаться перед подчинёнными, широко открытым ртом неуместно захохотал. Косым взглядом, перехватив широкую улыбку первого секретаря и взгляд, направленный на него, Николай Михайлович безошибочно принял её и донёсшийся хохот на свой счёт.

Его снова сковал страх быть выброшенным на обочину, быть схваченным, разоблачённым в крамольных мыслях. То считал он свою службу пустячной и никчёмной: ведь, по сути, он ничего не решал; то вдруг возникало душевное возвышенно-восторженное ощущение где-то глубоко в груди. Это обычно случалось в минуты мысленного погружения в атмосферу всеобщего восторженного восприятия докладов высших партийных чинов партактива. Раньше такое чувство вызывали речи Сталина, теперь — Хрущёва.

Но чаще Николай Михайлович испытывал другие чувства, они возникали под долгим тягучим взглядом товарища Сталина. Никогда не знаешь, чего ожидать от него в очередную встречу. В такую минуту тягостного ожидания холодело в груди, будто скользкая гадюка заползала; за тот, будто узревая эту гадючку, вдруг улыбнувшись снисходительно, приговаривал с растяжкой:

— Ви чего испугались, дарагой товарищ. Вам, Николай Михайлович, как честному коммунисту волноваться нечего... пока...

После этого “пока”, следовавшего после внушительной паузы, в ногах исчезала твёрдость, глаза искали опору. И этот неуверенный взгляд будто расшифровывал Сталин:

— Садитесь, — говорил Иосиф Виссарионович, указывая дымящейся трубкой на свободный стул.

Николай Михайлович вытер холодный пот со лба.

— Товарищи! — разрезал тишину скрипучий голос Никиты Сергеевича. — Слово предоставляется председателю комиссии по перезахоронению товарищу Швернику.

Объявление первого секретаря застало Николая Михайловича врасплох: он в это время вилкой ловил скользкие грибочки в своей тарелке. Звонко звякнула вилка, брошенная нетвёрдой рукой.

— Дорогие товарищи! Созданная Центральным Комитетом комиссия, возглавляемая мною, выполнила важное поручение съезда, можно сказать — выполнила волю народа, — после официального вступления председатель комиссии сделал паузу. Он не знал, куда повернуть дальше, уместно ли здесь отметить заслуги Сталина. На язык уже лезли слова, раздававшие, как казалось Николаю Михайловичу — совершенно справедливо, если не хвалу, то во всяком случае заслуженную признательность за достижения советского народа под руководством... Но не решился. На критику тоже духу не хватило. Пауза затянулась.

— Ну, ладно, — перехватил инициативу Никита Сергеевич, — зарыли — забыли! — грубо продолжил он. — Мы выполнили, как сейчас сказал товарищ Шверник, волю народа! Прошу это помнить. Вот Иван Васильевич на съезде доложил об этом. Толковый доклад, молодец, — Хрущёв положил руку на плечо соратника. Иван Васильевич приосанился, вскинув голову. — Это воля народа! — Никита Сергеевич возвысил голос, будто не только присутствовавших, но и себя убеждал в правильности и справедливости сегодняшнего действия. — Прошу выпить за наше правое дело, за дело коммунизма! — Хрущёв поднял в вытянутой руке рюмку, наполненную доверху.

За такой тост невозможно было не выпить. Так же одним единым коллективным движением опорожнили рюмки. Николай Михайлович отметил, что вторая рюмка прошла легче.

— Вы тост хотели произнести, товарищ Джавахишвили? — заметив некоторую активность в конце стола, спросил строго Хрущёв.

— Нет, товарищ первый секретарь, он спрашивает, подадут ли мороженого чира. Строганины уж очень хочется, — как-то развязно сказал генерал Захаров.

— Приучил вас товарищ Сталин к сырой рыбе, — ворчливо, но не зло заметил Никита Сергеевич. — Григорий! — позвал он громко повара. Тут же явился Григорий с подносом в руках. На подносе лежала большая рыбина с уже снятой кожей. Тут же, на столе, Григорий мастерски начал строгать мороженую рыбу. Белые завитки ложились на большое блюдо. Григорий ловко посыпал каждую стружку солью и чёрным перцем.

Рюмки снова наполнились коньяком.

— За наш советский народ, за светлое будущее, за коммунизм во всём мире! — подхватил тему Джавахишвили.

Выпили. Закусили строганиной. Только Никита Сергеевич и Спиридонов отказались: так и не приучившись к сырой рыбе, они закусили заливным сигом.

— Как называется эта чудесная рыба? — спросил генерал Захаров. — Я всё время забываю.

— Это чир — самая лучшая рыба, — ответил Григорий.

— А откуда её привозят? — продолжал любопытствовать генерал.

— Эта — из Красноярского края, откуда-то с самого севера, это енисейская рыба, — Григорий продолжал строгать белую нежность енисейского чира. — Из Игарки, говорят.

— Это где стройка номер пятьсот три была? — спросил генерал.

— Да, товарищ генерал, где стройка номер пятьсот три, — подтвердил Григорий.

— Выпьем за тех людей, что ловят такую рыбу! — вдруг спонтанно выкрикнул генерал Захаров.

— Выпьем!

— Выпьем!

— Выпьем, — послышались робкие возгласы.

Выпили. После легко проглоченной уже далеко не первой рюмки коньяку Николай Михайлович, осмелев, произнёс:

— Товарищ Сталин к сырой рыбе пристрастился в ссылке, это у него — с молодости, с Нарыма, так сказать, и с Курейки. Ему и в Москву частенько присылали северную нельму, чира, муксуна, — осмелевшему Николаю Михайловичу вдруг захотелось обозначить свою осведомлённость на такую, как показалось ему, нейтральную тему, не могущую повлечь последствий: не всё можно было обсудить в этом строгом и беспощадном кругу так называемых друзей, — но раньше он получал такие посылки от случая к случаю, а вот уже с сорок восьмого года поставки рыбы стали постоянными. Как-то вызвал нас с Анастасом Микояном товарищ Сталин и говорит: “Подумать нужно, товарищи, над одним вопросом, нужно организовать поставки северной рыбы...”

— Товарищ Сталин позаботился, чтобы на северах оказалось достаточно рыбаков, безвинно, заметьте, репрессированных. За это мы его и осуждаем, — съязвил Никита Сергеевич, грубо перебив Шверника, — но многие

из них уже вернулись домой, реабилитированы. Мы ещё многих реабилитируем. Так что скоро без сырой рыбы останетесь... сыреды. — Никита Сергеевич после этой реплики зычно захохотал.

Никита Сергеевич отметил с удовлетворением для себя, что тема разговора сменилась; отметил он и то, что Николай Михайлович легко пропустил очередную рюмку, даже не поморщившись. Это говорило о том, что всё пошло нужным руслом, что люди уже готовы забыть сегодняшнее тягостное для каждого событие. Собственно, для того и пили коньяк, чтобы забыть.

— Я хочу тост... — начал Джавахишвили после непродолжительной паузы.

— Никаких тостов, Гиви, — грубо оборвал Хрущёв, — наливайте, пейте, закусывайте сыр-р-ым чиром... Сегодня не тот повод, чтобы тосты провозглашать. Будут ещё события, будут ещё поводы. Я верю. Вот построим коммунизм, тебе первому дам возможность, Гиви Дмитриевич, тост поднять. А сегодня никаких тостов! Наливайте, пейте, закусывайте...

1–5 декабря 1961 года, озеро Хантайское — Игарка

Резкий и колючий ветер со свистом прорывался сквозь редкий ельник, срывая оставшиеся ключья смёрзшегося снега с размашистых лап. По небу быстро мчались мрачные тучи; не успевая просыпаться снегом, они грязными клоками серой ваты уносились за острые вершины колючих елей. Между качающимися елями собачьими хвостами носилась позёмка... Мороз не ослабевал, держа в своих цепких лапах и путников, и лес, и небо, и звёзды, и всех обитателей этой северной земли. С бешеными порывами ветра он залезал под выдавшие виды фуфайки путников. Вокруг шапок, туго завязанных грязными шнурками под подбородками, вырос толстым слоем иней, осыпавшийся мелкой порошью от резких порывов ветра. Веки, брови, клоки волос, выбивающиеся из-под шапок, уже давно покрылись крупным ледяным бисером. Сначала ребята срывали образующиеся ледяные наросты, но они вновь образовывались с неотвратимым постоянством. Лицо Виктора и вовсе походило на снежный сугроб: борода, усы, брови срослись в сплошную белую маску. И только глубоко посаженные глаза придавали этому снежному кому осмысленность и подобие человеческого облика. Собаки, повизгивая и влзаивая, выбиваясь из последних сил, тащили гружёные сани по лыжному следу. Впереди шёл Виктор. Он торил лыжню, указывая собакам путь. Темно. Небо скоро вывездилось. Тучи прогнало куда-то на юг, выкатилась ополовиненная луна.

— Поднажмите, миленькие, поднажмите, родненькие! — кричал Мишка, держа длинную вожжу в левой руке. В другой руке у него была вышлифованная до блеска крючковатая палка, на которую он опирался. Временами он подталкивал сани, стараясь помочь своим подопечным. За собак отвечал он. Пытались править собаками и Валерка, и Рамазан, но собаки их не слушались, начинали рвать постромки вразнобой, а заканчивалась эта разнособица собачьей потасовкой. И Мишке приходилось мирить рассорившихся собак. К каждой у него свой подход. Знает он, что Джек никогда не отлынивает и не филонит: если уж впрягся, то будет тянуть с таким рвением, что постромки трещат. Не зря же он главный в упряжи — вожак. Он сильнее других собак просто по факту: крупный пёс — помесь овчарки с лайкой.

Берта — дама нежная, ну, это если по натуре. Так-то она сильная собака, выносливая, но не любит разговоров на повышенных тонах. Мишка уже знает: если уж Берта обиделась, то только ласковое слово может её поднять. А иначе ляжет калачиком, уткнёт свой нос под хвост и лежит, прижав уши. Попробуй, тронь в такую минуту, тут же ощерит зубы, да так глянёт на тебя, что мороз по коже. Вот и воркуешь, вот и уговариваешь ласковым словом.

“А Швед — лентяй. Маменькин сынок и есть маменькин сынок, — подумал Мишка. — Ни хрена не тянет. Мамка вон за двоих старается. Ну, молодой ещё”, — нашёл он оправдание молодому коблү.

— Швед, Швед, Швед! — хрипел Мишка. — Поднапрягись, лентяй! Давай, давай, давай!

“Авай, авай, авай!” — доносилось до Валерки и Рамазана, тащившихся на лыжах следом. У каждого за спиной вещмешок, как и у бригадира. Только Мишка без груза за спиной — ему управляться с собаками, и мешок стесняет движения. Пробовал, но Виктор сам сказал:

— Сними мешок — ты и без него упаришься.

— Берга! Найда, Найда!

“Ерта! Айда, Айда!” — оставалось Валерке и Рамазану. “Джек, Джек, Джек!”, “ек, ек, ек!” — и снег, секущий косо тысячами иголок, и лыжи — пудовые гири, и гудящее внутри сердце, и полуприглушённые шапкой-ушанкой уши, и бело-синее пространство в фиолетовой круговерти. Затяжной подъём забирал силы. собаки тянули, как могли, Мишка подталкивал сани своей клюкой. Подоспели Валерка с Рамазаном. Снова закрыло луну, потемнело враз.

— Рюха, поднажми, Рюшечка-а-а-а!!!

— Подможем, мужики! — упирался клюкой в мешок с ситами Мишка.

— Подможем! — напирал на свою палку Валерка.

— Подможем! — высоко фальцетом натужно выдавливал из себя Рамазан.

В три помочи сани ускорились, Мишка потерял опору, зарылся лицом в снег, но тут же вскочил, помчался вперёд. Нельзя останавливаться. Пока собаки набрали ход, нужно бежать. Догнали Виктора. Он своей клюкой подцепил крайнего пса за постромок и потащил что есть мочи.

— Швед, Швед, Швед! — подгонял Мишка, лишь заметив ослабшие постромки.

— Давай, давай, давай! — хрипел Мишка, налегая на клюку, а сани всё замедляли ход. Взрычал Джек, огрызнулась Берга, взвизгнул Швед. “Авай, авай, авай!” — проглатывалось синей ночью. Сани совсем замедлили ход и остановились.

— Всё! — прохрипел Мишка. — Дальше собаки не пойдут. Что ж, их в первый день ухайдокать, что ли? Да и я уже не могу... Всё! — он устало подошёл к собакам.

Слова его словно подвели черту сегодняшнему дню; все поняли, что Мишка сегодня собак дальше не погонит. Он, сверкнув глазами в сторону бригадира, присел на мешок с морожеными чирами.

— Я, что ли, не понимаю? — достал трубку Виктор. — Собакам нужен отдых, да и нам тоже. Сегодня прошли порядком. Завтра до рыбаков дотянуть бы. Там и обсушимся, и обогреемся.

— Далеко ещё? — спросил Рамазан.

— До рыбаков? Ближе будет, чем сегодня прошли, — ответил бригадир.

— Это хорошо, что ближе, — тихо произнёс Валерка.

— Ну, что, Миша. Отдыхай с собаками, а мы место для ночлега поищем. Вот в том густом ельнике, однако, посмотрим, — обратился он к Валерке и Рамазану, и они втроём скоро растворились в синеве, заплутали в редких кустах, росших по склонам распадка. Ветер стих, небо снова вы звездилось.

Очутившись под куполом звёздного неба один, Мишка вдруг ощутил себя маковым зёрнышком — маленьким-маленьким. И лежащие собаки, к которым он прижался, тоже маленькие, словно муравьишки на большом-большом белом покрывале. И нет края у этого покрывала, и нет у него границ. Так можно ползти день, два, три — вечность, и не найти край. И у неба нет границ, и звёзды чёрт знает, за сколько миллионов километров, и луна такая яркая, и от этого кажущаяся ближе, тоже далеко, однако, от земли. Мишка силился вспомнить расстояние. Читал же где-то, но не вспомнилось. А Гагарин-то был там. Вдруг Мишке подумалось, что даже космический аппарат не достиг звёзд, он не достиг даже Луны. Но, если уж начали летать, так и до Луны доберутся. Только и пишут об этом газеты. Только и говорят теперь о лунных программах, о межзвёздных, а то и межгалактических космических кораблях, которые, конечно же, построят в скором будущем.

И вот он припал лицом к иллюминатору, отчётливо ощущая прикосновение холодного стекла. Словно снежинки у фонаря, проносятся звёзды,

пропадая в чёрной бездне космоса. Что-то подобное он уже ощущал и видел. А, это когда-то он ехал ночью в кабине вездехода, а в стекло летели с бешеной скоростью снежинки. Тогда это зрелище Мишку заворожило. Летят звёзды, мчатся, обтекая космический корабль, направляющийся на свет, на большую звезду, а может, на Луну. Там тепло, там светло...

— Вставай, вставай! — услышал Мишка настойчивый Валеркин голос. — Ты, никак, уснул. Ну, ты даёшь. Помнишь слова Виктора: не дай Бог уснуть на морозе — это конец.

— Но я ведь на минутку, возле собак. Да и я же знаю, что вы придёте за мной, — оправдывался Мишка, — бригадиру не говори...

— Ладно, поднимай собак. Вон там внизу нашли место. Дров там много, тихо, ветра нет.

— То, что внизу, — это хорошо. — Мишка погладил Джека. — Вставай, дружок, — он тронул ляжку. Джек потянулся, отряхнул снег. За ним нехотя поднялись все собаки. Резво взяв с места, они потянули поклажу вниз по склону. Ребята запрыгнули в сани и покатались на запах дыма, на свет костра. Мишка приближающийся свет огня воспринял как доброе предвесьтие короткого сна.

— Пойей чаю, — обратился к Мишке Виктор, — согрейся, да и собакам поставим. Кипяток уже есть, специально полный чайник наварили.

— Сперва собакам, — деловито ответил Мишка.

Он достал куски налима, предусмотрительно разрубленного перед дорогой, положил несколько кусков в большую собачью кастрюлю, залил кипятком, сверху насыпал снегу, чтобы натаяло, поставил на огонь.

— Теперь можно и чайку, — сказал он сипло.

— Голос, что ли, сорвал? — спросил Рамазан.

— Сорвёшь с ними, — ответил Мишка, кивнув в сторону собак.

— Устал? — участливо спросил Виктор.

— Устал, — просто, без ужимок ответил Мишка, — устал, как собака, — улыбнувшись, продолжил он, — а они, так и вовсе чуть Богу душу не отдали. На последнем подъёме, где поворот вправо, Джек аж обоссался от натуги на ходу. Вот какое напряжение, — Мишка взял из рук Виктора горячий чай.

Джек, услышав свою кличку, повернул голову в сторону хозяина.

— Лежи, лежи, отдыхай. Сварится вам хлебово, поужинаете. Заработали... — Мишка с кружкой подошёл к собакам, — отдыхайте...

Пока Мишка варил собакам рыбу, а Виктор — уху из жирного сига, Валерка и Рамазан притащили два еловых бревна.

— Нодью сделаем, — сказал Виктор. Его лицо от работы у костра приобрело привычный вид. Снежный куржак растаял: рыжая борода запылаха у разгоревшегося костра.

Пока Мишка занимался собаками, Рамазан с Валеркой таскали дрова, Виктор с каким-то неистовым тщанием выбирал снег до самого мха. Сначала он вырубал совковой лопатой куб из плотного снега, потом поддевал его снизу и вытаскивал на плотный снег. И так кубик за кубиком. “Как сахарные”, — почему-то мелькнуло в голове Мишки. Снеговые кубы Виктор выложил плотной стеной вокруг вычищенного до мха пятачка у костра. Получилась просторная площадка, окружённая снеговым валом, который защищал от ветра.

— Это ты хорошо придумал, просто дом получился, но без крыши, — сказал Мишка. Он, покормив собак, подошёл к бригадиру.

— Не я придумал, все так делают: не на ветру же ложиться. Вот и вы теперь будете знать. Займись лапником. Да побольше натаскай.

— Понятно, — с готовностью ответил Мишка, — для себя же...

— То-то же — для себя. А я пока собакам вырою конуру — от ветра чтоб.

— Это ты тоже хорошо придумал, — улыбнулся Мишка, — пойду за лапником.

Он был рад заняться какой-то работой, требующей движения, потому что начал зябнуть, топчась на месте.

Ни мягкие, выстланные еловым лапником лежанки, ни одеяла из шинельного сукна, припасённые для того, чтобы укрыться, не могли спасти путников от жуткого мороза. Они жались к огню, друг к другу, но и это не помогало. Кто хоть раз ночевал у костра, знает, что там работает правило шашлыка: пока греется одна половина, в это время мёрзнет другая. Чтобы не замёрзнуть окончательно, нужно крутиться и извиваться ужом.

Спал ли он, Мишка не мог утверждать категорично. Он то вдруг вздрагивал всем телом и быстро поворачивался, чтобы согреть спину, и тогда перед глазами возникала сплошная синева. Снег, напитанный темнотой ночи и слабо подсвеченный луной, приобретал какой-то чернильный оттенок. Как только спина согревалась, глаза закрывались сами по себе незаметно для Мишки. Он пытался поймать миг погружения в сон, но это ему не удавалось. Тут же возникало лицо бабушки. “Ты, Мишуля, запомни, что я тебе расскажу. Но до поры до времени никому ни-ни”. Она обычно прикладывала заговорщицки палец к собранным в трубочку губам. Мишке всегда казалось, что бабушка, заводя разговоры о своём муже, о тесте, в честь которого и был наречён он Михаилом, будто винилась в чём-то, будто пыталась вложить в его голову мысли, оправдывающие предков, их деяния, вольные и невольные, приведшие семью в невольничьи казематы. “Тебя, Мишуля, в честь прадеда Михаила Владимировича Миррера назвали. Не думай, что его, если царь-батюшка выслал в Сибирь, так он разбойником каким-то был или, не приведи, Господь, изменником родины. Нет, Мишуля, он человеком, знаешь, каким знатным был? По молодости лет в кружках разных в столице участвовал, народовольцем был, за справедливость для простых людей боролись эти люди. Своё разумение о государственном устройстве царю хотели донести, но вот случилось так, что царь не оценил, а может, и не понял. Царь-батюшка недовольство своё изволил так выразить: выслал самых, как ему казалось, опасных подальше от столицы. И прадед твой под горячую руку попал”. Бабушка размешивает сахар, чайная ложечка позвякивает, ударяясь о стенки. Мишка представляет почему-то действительно горячую руку царя-батюшки. Это рука от того горячая, что он чашку держит с горячим чаем, догадывается Мишка. “А почему он не убежал от царя?” — спрашивает Мишка. “От царя не убежишь, у него сила! У него по всей стране сыскная полиция, сыщики. Везде найдут”. Бывало, бабушка читала ему письмо, написанное Михаилом Владимировичем своей жене в Ялту. Это было единственное письмо, сохранившееся от его прадеда. Он выучил письмо наизусть, ибо бабушка читала его не один, а, наверное, с десятков раз. Каждый раз бабушка плакала, читая письмо Михаила Владимировича жене: “Как-то, мой ангел, моя милая Катечка, поживаешь? Проводила ли Нину, скучаешь или нет? Долго ли ты думаешь пробыть в Ялте? Когда кончается там сезон лечебный? Как бы мне хотелось скорее увидеть, услышать тебя, обнять и целовать, целовать. Вот уже три почты, Катечка, я не имею от тебя писем. Скучно мне становится, когда приходит пароход и не приносит от тебя весточки.

Кончились занятия (мне всё время мешали), начинается уборка, надо идти, надо обедать, а есть совсем не хочется. До свидания, милая, хорошо бы — до скорого. Крепко, крепко целую. Твой всегда Миша”. После окончания письма бабушка обязательно добавляла: “Писано письмо 18 августа 1908 года”. Часто она повторяла, что носил Михаил Владимирович всегда железный браслет из тех оков, в которые был закован во время этапирования в Сибирь, и перстень, выкованный из этого же железа. И никогда не снимал его, да и снять не мог, ибо кисть в него не проходила. Так и похоронили его с браслетом. Мишка будто ощущает холодный браслет на своей руке и просыпается.

Скрипит снег под унтами Виктора, на руку просыпался снег, охолодив кисть. Виктор уже подкладывает заготовленные заранее дрова. Чайник выдвигает из себя какие-то шипящие звуки, переходящие в жалкий свист.

— Бабушка приснилась, — с хрипотцой промолвил Мишка.

— Она у тебя женщина правильная, старой закваски, — подхватил разговор Виктор.

— Да-а-а, она когда-то в институте благородных девиц училась в Томске. Звучит-то как — “благородных девиц”. Я вот о чём думаю: что им, этим моим предкам, в одном месте свербело? Прадед царём не доволен был — сослали. Деду, сыну его, уже советская власть не понравилась — расстреляли, а нам — загнивай в этих северных болотах. Я как на маму посмотрю, так прямо реветь охота. И реву по ночам, только вот стыдно признаться. Я что, не понимаю, почему она к рюмке прикладываться начала? От беспросвету, от безнадёги. А что, думаешь, ей легче от этого становится? Выпьёт, обхватит голову руками и ревёт как белуга, волосы на себе рвёт. Как она там без меня? — и глаза Мишки увлажнились, голос дрогнул, и он замолчал, чтобы не выдать себя.

— Ты, Мишка, не смей их упрекать. Ни в чём они не виноваты...

— Бабушка тоже только и твердит: не виноваты, не виноваты, — перебил сердито Мишка.

— Молод ещё, горяч. Ничего, пройдёт время — разберёшься. Ни за что можно было загреметь. Мои же ни за что попали. Мои — и прадед, и дед, и отец рыбу к царскому столу поставляли. Так велось испокон веков, как говорится. Никто не знает, когда началось. Углич на Волге стоит, а раньше лавливали там всякую рыбу добрую: и стерлядей крупных да жирных, и осетров добывали. Кружку-то вот эту сам царь прислал после того, как прадед под лёд ушёл с осетрами да стерлядями для царского стола. Вот Император Николай II пожаловал кружку, коврижку какую-то да бутылку вина “Мадеры”.

— Откупился, что ли? — зыркнул Мишка исподлобья, оторвавшись от кружки с чаем.

— Вроде того. Да я не об этом хотел... Получается, когда был царь, ловили для их семьи, пришли большевики, теперь им стали ловить рыбу, и так же в Москву отправлять. Нам-то какая разница, кто там, в столице, на троне. Так вот ловим, возим в столицу — все вроде довольны: мы при деле, им там рыбка наша пригождается. А вот же всё порушилось враз... — Виктор пошевелил головешки в костре, отхлебнул чай, выпустил густой пар, потёр глаза, вроде как от дыму.

Не то от разговору, не то от холода проснулись Валерка и Рамазан.

— Чё не спите? — спросонку не спросил, а прорычал Рамазан.

— О, чаёк поспел, — подсел к костру Валерка, он тёр замёрзшие ладони и дрожал всем своим худеньким телом.

— Ты, случаем, не заболел? — тревожно спросил Виктор.

— Да вроде нет, — ответил Валерка.

— Потопчись, потопчись вокруг костра да принеси пару поленев — согреешься, — напутствовал Виктор, а у самого тревога всё же закралась: от чего это его так взбульндивает. Хотя причина есть — спросонку да в такой мороз самого тоже трясло, пока не расхотелся да огонь пока не взбодрил.

— Я слышал, о чём вы тут шептались, — Рамазан грел руки о горячую кружку, — так чё там порушилось враз? — он посмотрел Виктору в глаза.

— Так вот, — оживился Виктор, — стали мы врагами народа в одночасье. Как так произошло, и сами-то не сразу поняли. Потом только дошло. Мой дед, царство ему небесное, любил повторять иногда при случае, когда рыбу простую едал. А должен вам сказать, что у нас в семье давно так велось, что стерлядей-осетров шибко-то не уваживали — больше щуку или окуня любили. То он, дед-то мой, изрекал: “Баре, оне привыкли сладко кушивать, у них нутро изнеженное, ишшо запоносит с грубой пищи, а мне мёдов не нать, мне и с репки сладко”. Никто никогда не обращал на это внимание. Ну, мало ли чего скажет старый неграмотный человек. А тут так получилось, что услышал эти слова вечный враг нашей семьи Щуровский Тихон — первый что ни на есть активист в селе. Наши родители давно друг на дружку косятся. Говаривали, что ещё дедов наших мир не брал. Что уж там случилось, какая собака меж их пробежала, не берусь рассуждать. Но только донёс Тихон на деда моего, да ещё написал в кляузе, что все мы в семье с им согласились, что наше правительство пролетарское, оказывается, “баре” и что “крайне неуважительно о советской власти отзываются в этой семье,

что, дескать, они могут и противодействие оказать советской власти”, — вот прямо так и написал. Он-то грамоте обучен, он знает, как написать. А тут ещё и корову, не сданную в колхоз, припомнили, и лошадь. А как без лошади? Рыбу-то нужно чем-то возить с реки. Вот и оказались мы здесь на северах. Ну, и кто тут виноват? — обратился Виктор к Мишке.

— И за это загребли? — спросил с недоверием Мишка.

— Вот за это... Ладно, давайте собираться. Собакам варево готово? — Виктор стал поправлять головешки в костре.

— Готово, — буркнул Мишка, — пойду покормлю...

Виктор, укладывая поклажу в мешки, наблюдал, как зашевелились его помощники. Каждый знал своё дело. “Нужно идти, пока они не выдохлись...” — подумал он и слотнул ком в горле. Он знал, что холод забирает силы быстро, и необходимо пройти сегодня максимально возможное расстояние. Завтра будет уже сложнее. “Валерка бы не свалился”, — зародилась тревога у бригадира. Что-то насторожило его вчера. “Он ещё не понимает, но долго не сдожит”, — от опытного Виктора не укрылось недомогание, нездоровый румянец и какой-то меланхоличный блеск глаз.

— Лучше на лыжах идти, чем на месте сидеть, там хоть греешься, — проворчал Валерка, будто считал мысли Виктора о нём.

— Свой рюкзак пристрой на упряжку. Нельзя тебе тащить груз, — сказал громко Виктор, так, чтобы все слышали, чтоб лишнего разговору избежать и домыслов.

— Да я нормально...

— Я сказал! Не рассуждать! — резко оборвал его Виктор. — И ты, Ромка, тоже свой рюкзак туда же пристрой, присматривай за Валеркой.

До Мишки долетела команда бригадира, и он укоризненно посмотрел на Виктора: собакам же тащить.

— Знаю, знаю, Мишаня, что тяжело собакам, но нам сегодня предстоит тяжёлый день. Мне боевые потери не нужны, — по-военному бодро произнёс Виктор. Валерка и Рамазан молчали. А что тут возразишь? Приказ есть приказ. Валерка благодарно посмотрел на бригадира. Он действительно вчера еле дополз до костра.

Отдохнувшие собаки резво вынесли нарту на гору, оттуда шёл длинный спуск по чистому месту, плотный снег хорошо держал.

— Беги вперёд, сколько можешь, а мы за тобой, — скомандовал Виктор. — Вот в таком направлении.

— Клади свой рюкзак, ещё вымахаетесь сегодня, — как-то по-взрослому сказал Мишка, обращаясь к бригадиру, тот замаялся. — Давай, давай, нам же под гору, собаки легко идут.

Виктор снял тяжёлый рюкзак.

— Идите, сколько можете, как станет неважно — мы подоспеем. — Виктор пристроил рюкзак на нарте.

— Мороз крепчает, — заметил Мишка.

— Ничего, зато ветра не стало, да и видимость стала лучше. Тут нам главное после той горы, что впереди, не обмишуриться, а то уйдём не туда. Лишние километры нам наматывать ни к чему. Под горой остановись.

— Хорошо. Айда, милые! — крикнул Мишка, и собаки натянули постромки, скрипнули полозья, и нарта помчалась. Мишка, стоя на запятках, стал удаляться от поджидающего Валерку и Рамазана Виктора.

“Господи, сделай так, чтобы с ними ничего не случилось, сохрани их, не дай им замёрзнуть, дай им силы выжить”, — думал в это время Виктор, всматриваясь в уменьшающуюся фигуру Мишки; повернув голову, он наблюдал, как медленно поднимаются Рамазан и Валерка. И то, что так медленно они шли, тревожило бригадира, и в его душу закрадывалось сомнение с каким-то горьким привкусом. Зачем отправил Мишку, вдруг мелькнуло в голове. Наверное, Валерка выбился из сил. Так быстро? Это совсем плохо. Нужно было придержать Мишку, Валерка, наверное, не может идти. Ребята уже совсем близко. Да, Валерка еле передвигает ноги. Плохо,

совсем плохо. Виктор судорожно думал, как выйти из сложившейся ситуации. Он понимал, что Валерке идти дальше нельзя.

— Как дела, Валера? — спросил Виктор.

— Плохо, ноги дрожат, нет сил. Такого со мной ещё не было. Не понимаю, что случилось, — он виновато посмотрел на Виктора.

— Он еле передвигает ноги, — подтвердил Рамазан.

Виктор снял верхнюю фуфайку, снял шерстяную кофту-поддёвку.

— Снимай фуфайку, — скомандовал он.

Он помог Валерке снять фуфайку, надел на его худые плечи кофту, быстро надел фуфайку, также быстро застегнул, чтобы не потерять тепло.

— Посидите, отдохните, а я сейчас лапника принесу.

И Виктор побежал в ближайший ельник. Нарубив еловых лап, он вернулся, верёвками увязал на лыжи к креплениям.

— Ложись, — скомандовал он решительным голосом.

К носкам лыж он привязал верёвку, вдел в петлю палку.

— Берись, Рамазан, за один конец, и потащили.

Сначала волокуша подалась сравнительно легко, но по мере того, как крутизна горки совсем сошла на нет, груз стал ощущаться сильнее, но Рамазан с Виктором, не останавливаясь, тянули за собой волокушу. С каждым шагом становилось тяжелее. След от нарты отпечатался достаточно чётко, и они следовали строго по следу. Далеко показалась чёрная точка. “Догадался бы Мишка подъехать, помочь”, — подумал Рамазан. “Хоть бы Мишка не повернул к нам”, — думал Виктор, понимая, что такие манёвры только утомят собак, а потом всё равно придётся их толкать, тратя силы. “Дотащим”, — думал он.

— Давай-ка передохнём, — предложил Виктор.

— Я сам пойду, — выдал из себя Валерка, — да и согреюсь. Холодно что-то стало.

Виктор понимал, что у него температура, поэтому и знобит, поэтому и ощущает он холод, но и, наверное, одежда увлажнилась. Да и мороз не слабенький. Валерка сел, обхватив колени руками, будто решаясь на какой-то важный шаг. Виктор и Рамазан помогли ему подняться.

— Тут уже недалеко, — впереди уже отчётливо видна была упряжка. Мишка остановился. Дальше шёл подъём, две вершины. Он не знал, куда поворачивать: или влево вдоль ручья, или правее между вершин.

Мишка, наблюдая, как тащили Валерку на волокуше, как тяжело передвигается он сейчас, понял всю серьёзность положения.

— Приехали, — буркнул он.

— Без паники, — грубо и жёстко оборвал его Виктор.

— Далеко до избы? — спросил Мишка.

— Не близко, что мы тут прошли? Совсем ничего, — было ему ответом. — Не считайте метры, километры, — вспылил Виктор, — нам нужно просто идти и идти. Сейчас пойдём в сторону ручья, через три километра будет ельник, сделаем привал, сварим чаю, перекусим.

Уложили Валерку на нарту, Виктор водрузил на себя свой рюкзак.

— Видишь, — обратился он к Мишке, будто оправдываясь, — мах на мах. Твоя повозка не потяжелела.

Мишка смолчал.

— Как собаки?

— Берта припадает.

Виктор с тревогой посмотрел в сторону собак.

— Ну, так что? Погнали? — спросил Мишка.

— Погнали, — тихо сказал Виктор.

— Айда, милые! Джек! Джек! Джек! Берта! Берта! — крик его уносился в синеву. Следом за нартами Мишка бежал на лыжах, то отталкиваясь, то, когда нарта набирала ход, скользил, хоть немного отдыхая: два-три раза оттолкнётся, замрёт, поставив лыжи в параллель. “Откуда он силы берёт, — думалось Виктору, — цыганская кровь”.

А спереди где-то уже далеко доносилось: “Ед! Ед! Ед! Авай! Авай! Авай! Ерта! Ерта!..” — и исчезало в серости полярной ночи.

Лениво разгорался костёр, потрескивали еловые ветки. Валерку подвели к самому костру, где для него соорудили из лапника ложе, в котором он мог полусидеть. У него появился кашель. Обычно приступы кашля возникали внезапно. Валерка бился в мучительных конвульсиях. Казалось, что такие приступы отнимали у него силы. И вот снова Валерка закашлял, прижимая грудь рукой, словно пытаясь унять боль в груди. На парнишку накидали все имеющиеся одеяла, уже жарил всюду костёр, уже растаяли куржаки на лицах, и бригадир вновь окрасился в рыжий цвет, а Валерке всё было холодно.

— Согрелся? — спрашивает участливо Виктор.

— Зябко, — отвечает слабым голосом.

Попил горячего чаю через “не могу”, через “не хочу”. Виктор заставил.

— Согрелся?

— Зябко.

— Далеко ещё до избы? — спрашивает бесстрашно Мишка. Он знает, что бригадир не любит этот вопрос, но хочется знать.

— Половину уже прошли.

— Половину — это хорошо, — бубнит Мишка, — Берта совсем сдохла. Она уже сама еле плетётся. Не знаю...

— Нам балласт не нужен, — угрою сказал Виктор.

— Ты что удумал? — встревожился Мишка.

Виктор поднялся, подошёл к упряжке, отстегнул БERTУ и повёл в ближайший ельник. Она послушно, шатаясь, поплелась вслед бригадиру. Ухнул выстрел. Мишка не шелохнулся, только вытер мокрое лицо. Вернулся Виктор, подсел к костру.

— Что смотришь так? Думаешь, я зверь бездушный? — голос Виктора набирал силу, напор.

— Жалко, понимаешь? — просипел Мишка и размазал по лицу мокроту, — но она бы уже не поднялась.

Мишка подсел к Валерке.

— Ты-то как, Валерка? Держись, — голос его дрожит.

— Я всё равно умру, — полушёпотом говорит Валерка, — оставьте меня здесь. Я всё равно умру, — повторяет он, и слёзы катятся из глаз прямо ручьём, и даже вздрогнуть, зареветь в голос нет сил.

Как не хочется умирать! Как не хочется оставаться в этом мёрзлом синем мире, где нет никого и ничего. Только вороны... Но Валерка думает о пацанах, и ему их очень-очень жалко, жалко друзей: вдруг не выдохнут, вдруг, ставши непосильной обузой, помешают им выжить, знает же сам, как тяжело. Собаки не выдерживают... Берта не выдохнула...

— Не говори так. Не твоё это дело, не дело человека предсказывать свой конец. Грех это. Господь думает, кому сколько отпущено, в его руках всё: и рождение человека, и жизнь его, и кончина. Никто не знает! — громко, чтоб услышали все, провозглашает Виктор.

— Вам без меня легче будет. Только весной заберите, а то ворон глаза выклюет. Больно... Помните, как у чира печень выклёвывал, — Валерка ревел.

— Что ты мелешь, — отмахнулся Мишка, — не бросим мы тебя, дотщим. Если уж на то пошло, так чира можем оставить, но пока справляемся.

— А зачем, действительно четыре мешка рыбы прём? — спросил Рамазан. — Да выбросить её на фиг! Всё же легче будет.

— Тут, мужики, такое дело. Это наш заработок. Что ж мы, зря горбатились? Продадим — разделим, а во-вторых, мало ли что в пути. Пока можем, будем тащить, — сказал твёрдо бригадир, и больше никто эту тему не трогал.

“Когда кончится эта ночь, когда кончится мороз, когда это всё кончится”, — носятся в голове гудящими пчёлами мысли. Мишка тянет вожжи, пытаясь резким взмахом взбудорить собак.

— Швед! Швед! Миленький, не падай, вставай, вставай, встава-а-ай!!! — орёт Мишка и не выдерживает, рыдает громко, не стесняясь ничего

и никого. — Не могу больше, не могу!!! — кричит, падая в снег. — Пристрели меня, бригадир, не могу больше!

Рядом валится в снег молчаливый Рамазан с остекленевшими и безразличными глазами.

— Валерка живой? — спрашивает он тихо, и нет в его голосе звонкости, выказывающей уверенность или хотя бы маломальскую твёрдость.

— Живой, — хрипит Виктор.

— Далеко ещё? — спрашивает равнодушно Мишка.

— Вон за той горой увидим... Рядом уже, мужики, потерпите, родимые, — и голос его дрожит.

— Что увидим?

— Свет увидим... свет... от огней...

— Свет... от огней... свет... свет... — шепчет Мишка и засыпает.

— Не спать! — кричит Виктор. — Не спать, вашу мать! Не спать! — орёт он так, будто весь мир хочет разбудить.

Мишка просыпается и видит, как Виктор трясёт Рамазана, а тот, как портянка на ветру, болтается, голова на тонкой шее летает в стороны. Мишка бросается на помощь Виктору.

— Не спи, Ромка, не спи, — говорит тихо, гладит лицо Рамазана, а тот выкатил зрачки откуда-то снизу, и смотрит отрешённо.

— Я нормально... я нормально, — лепечет Рамазан.

— Вставайте, мужики, пойдём, — умоляюще сказал Виктор, — боюсь я. Боюсь, что тоже усну. Тогда — всё...

Он потёр глаза тылом варежки, поднялся.

— Айда, Джек! — крикнул Мишка, стегнув вожжой. — Рюха, Найда, Швед! — крикнул он, подстёгивая вожжами. Собаки нехотя поднялись. Только Швед остался лежать. — Швед! Шве-е-ед!!! — заорал Мишка, и его крик перешёл в какой-то дикий рёв. — Шве-е-ед!!!

Швед лежал не шелохнувшись. Виктор достал нож, шатаясь, побрёл к собакам.

— Не трожь Шведа! — крикнул Мишка, бросившись на Виктора, но тот только отбросил низкорослого юношу. Мишка кувыркнулся в снег, снова поднялся. — Не трожь, я сказал!!! — орёт Мишка в синюю ночь.

Снова тычок в лицо. Мишка снова свалился в снег. Виктор подошёл к собакам, отрезал постромку Шведа. Собаки, словно почувствовав освобождение, сдвинулись с места.

Поднялся Мишка, схватил вожжи.

— Погнали, мужики-и-и-и! Погнали!!! — кричит Виктор, наваливаясь всем своим весом на нарты.

— Айда, Джек! Айда, айда! Джек! Джек!!! — с каким-то остервенением, нарастающей болью заорал Мишка.

Рамазан и Виктор, упираясь ногами в снег, подтолкнули нарты, и они начали разгон.

Уже по прошествии многих лет Мишка, выросший в Михаила Сергеевича, вспоминая те мгновения, те века и ту бесконечность, в которую превратились несколько суток пути от озера в посёлок, искренне удивлялся тому обстоятельству, что дошли, что выжили. Долго происшедшее с ними воспринималось как бы со стороны, как будто не с ними это происходило.

Он, иногда срываясь на скупой мужской всхлип, ронял хрипло: “Чуть не сдохли, не было уже надежды никакой...” — и не находил других слов. А бывало, нахлынут воспоминания, польются исповедальными словами. И тогда он вспоминал и рассказывал, рассказывал, рассказывал, пытаясь воскресить каждую деталь, каждое оброненное тогда товарищами слово. И как много значили вот эти детали, вот эти слова...

Разве забудет он, как они толкали нарту в гору, как, запинаясь огромными унтами о снег, падали, катаясь в снегу, поднимались, толкали, выбиваясь из сил; как визжали собаки, как Берта, свернувшись калачиком, отказалась тянуть; как уговаривал её Мишка, стоя перед ней на коленях, упрасивал:

“Ну, хоть немножко, ну, ещё немножко, потерпи, родная, потерпи...”. И она, будто понимая слова, отзывалась на просьбу, вставала, но через какое-то время снова ложилась. Мишка понял, что — всё... Боялся сказать бригадир, всяко выгораживал БERTУ, искал причины остановиться, чтобы дать ей передых.

Разве забыть ему тот выстрел, сухо хрустнувший в ельнике, куда увёл Виктор БERTУ... И помнится ему, не возникло в душе чувства вселенской боли, обиды на бригадира.

Почему-то всё тогда казалось целесообразным и логичным, даже потеря БERTЫ.

Разве забыть ему, как этот здоровенный рыжий мужик, наделённый, как казалось тогда им, пацанам, железными нервами и просто нечеловеческой физической силой, стоял на коленях в углу холодной рыбацкой избы, до которой еле доползли с уже теряющим рассудок Валеркой, и, вздрагивая плечами, молился. А в это время Рамазан, растапливая печку, тоже рыдал так, что не мог зажечь спичку деревянными пальцами. Он косо смотрел на молящегося Виктора и повторял, как мантру: “Русский Бог крепкий! Русский Бог крепкий!” Но руки не слушались его.

Разве такое забудешь?

И тогда Мишка взял у него коробок, чиркнул, поднёс под бересту. Разве забудешь этот спасительный огонёк, это спасительное тепло...

Как хотелось отоспаться в тёплой избушке, но бригадир разбудил их буквально через пару часов и снова погнал вперёд:

— Валерку нужно срочно в больницу, срочно! Понимаете, срочно! — рывкнул он по-звериному, когда Мишка не хотел вставать, просил ещё чуток полежать на тёплых нарах.

— Хоть часок ещё, — просил Мишка.

— Этого часика может не хватить Валерке, — уже спокойно сказал бригадир, — понимаешь?

— Понимаю, — сказал Мишка и начал одеваться.

Так же нехотя одевался Рамазан. Все понимали, что сейчас решается главный вопрос, вопрос жизни и смерти. И это не слова, это жестокая явь. И всё было так понятно и так наглядно. Всё поняли Рамазан и Мишка...

А когда заприметили зарево над городом — этот спасительный, воистину божественный свет, несколькими столбами поднимающийся ввысь, конечно же, к самому Богу (именно так тогда подумалось им), наконец-то осознали, что спасены, что дошли, дотерпели.

Разве забудешь...

Разве забудешь, как заливались слезами, как ревели они громко и безо всякого стеснения, уверовав наконец во спасение. Как ползли на коленях, толкая нарту, а три оставшиеся собаки, будто понимая всю бедственность положения, тянули постромки за пятерых.

— Господи! — воскликнул тогда Виктор дрогнувшим хриплым голосом, — Ты воистину справедливый и милосердный!

И он истоно крестился, пока никто не видит, пока город далеко, и не стеснялся своих обильно льющихся слёз. Крестился Мишка, и даже Рамазан что-то подобное крестному знамению выводил непослушной рукой. И слёзы, теплотой своею исходящие из самой души, из самого сердца, согревали обмороженные лица. И по лицу Валерки текли слёзы, и он всхлипывал, как ребёнок, пробудившись вдруг из небытия.

Разве такое забудешь?..

Помнит всё Михаил Сергеевич. Оглядывая окрестности Игарки, он приглядывает седые волосы, взъерошенные вольным ветром.

— Вот отсюда мы поднимались, — показывает он рукой на север, и глаза седовласого мужчины заволакивает влагой чистой и исповедальной. — А вот в том логу нас крестили, — показывает он в другую сторону. — Это сейчас там воды нет, а тогда весь лог был залит водой.

А больницу, куда дотащили всё же живого Валерку, разве забудешь; разве забудешь оброненное кем-то из врачей, что, дескать “не жилец”. Есть ли

слова, которые обскажут, выразят, сутью своей окажутся равносильными тому состоянию, которое возникло?

Нет таких слов. Но Мишка всегда находил какие-то слова, когда хотелось поведать о пережитом, когда хотелось взбередить свою душу этими тяжёлыми, но своими воспоминаниями.

А Валерка выжил. Врачи приписывали спасение недавно завезённому пенициллину, а это лекарство, как они утверждали, при пневмонии самое действенное и сильное средство.

А Мишка по-своему думал. У него на этот счёт было несколько иное мнение: лекарство лекарством, а всё же — Бог помог, потому, что молился Мишка, как мог, на иконку бабушкину, которая хранилась завёрнутой в белую материю вместе с семейными фотографиями, а бабушка научила его молитвам о здравии. И мама, испуганно косясь на дверь, тоже молилась на освобождённую от пут на время молитвы иконку. И Виктор молился, вот Бог и услышал, и сотворил чудо, потому что, как повторял часто Рамазан, — русский Бог крепкий.